

МИХАИЛ
САВЕЛИЧЕВ

Проста
на излом



Михаил Савеличев

Проба на излом

2021

Савеличев М. В.

Проба на излом / М. В. Савеличев — 2021

ISBN 978-5-6045754-5-1

Сборник включает три повести, объединенные по месту, времени и обстоятельствам действия: СССР, г. Братск; 1960-е годы; альтернативные реальности. В повести «Проба на излом» работник Спецкомитета Дятлов ставит жестокий эксперимент по превращению своей воспитанницы, обладающей сверхспособностями, в смертоносное оружие против подобных ей «детей патронажа», провозвестников грядущей эволюционной трансформации человечества. События повести «Сельгонский континуум» разворачиваются среди мрачных болот, где совершает вынужденную посадку вертолет с руководителями «Братскгэсстроя», с которыми желает свести счеты гениальный ученый, чье изобретение угрожает существованию Братской ГЭС. В повести «Я, Братская ГЭС» на строительство крупнейшей гидроэлектростанции Советского Союза по поручению Комитета государственной безопасности прибывает известный поэт Эдуард Евтушков для создания большой поэмы о ее строительстве и строителях, что вовлекает его в череду весьма странных, фантастических и даже мистических событий.

ISBN 978-5-6045754-5-1

© Савеличев М. В., 2021

Содержание

Братский цикл	5
Проба на излом	7
Часть первая. Пуля для будущего	8
Инструкция к применению	8
Обыкновенное чудо	8
Вивисектор	13
Остановка «Сосна»	15
Мир переборок	16
Братск-І	17
Нападение	19
Допрос бугра	21
Кромечник	22
Пули будущего	24
Разведчики будущего	26
Извлечение двоих	28
Часть вторая. Операция «Робинзон»	31
Стрельба по-македонски	31
Низы	32
Мирное сосуществование	33
«Космос»	35
Спортивная семья	36
Снайпер	37
Девочка и медведь	39
Транс-Персональный Движитель	40
Медведь	40
Что такое любовь	41
Робинзон	43
Визит мертвеца	44
Поезд здоровья	45
Иван	47
Часть третья. Нася	49
Стать человеком	49
Допрос	50
Банный день	51
История Наси	53
История Наси (продолжение)	54
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Михаил Савеличев

Проба на излом

Братский цикл

В 2016 году издательством «Снежный Ком М» был издан мой роман «Крик родившихся завтра», события в котором происходили в альтернативно-историческом мире 60-х годов XX века. Главное отличие того мира от нашей реальности в том, что Вторая мировая война в нем продлилась гораздо дольше (до конца 40-х), а изобретение и применение оружия массового поражения (ядерного, биологического и химического) стоило человечеству миллиарда жизней. Сюжет романа строился вокруг появления после войны детей со сверхспособностями, называемых «детьми патронажа», на которых природа «обкатывала» новые формы разумных существ, которые могли бы сменить человечество и совершить очередной эволюционный скачок.

Заглавная повесть предлагаемого вашему вниманию сборника описывает тот же альтернативный мир, а ее герои – дитя патронажа Иванна и сотрудник Спецкомитета Дятлов уже встречались на страницах романа «Крик родившихся завтра». Однако повесть – вполне самостоятельное произведение и не требует предварительного ознакомления с романом, если только вас не заинтересует дальнейшая судьба героя.

Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание читателей на аудиоверсию повести «Проба на излом» в великолепном исполнении Ильи Веселова, большого профессионала своего дела. На мой авторский слух, это тот случай, когда исполнение получилось гораздо сильнее оригинала…

Следующие два произведения примыкают к «Пробе на излом» преимущественно «территориально» (хотя их событийные отголоски слышны и в заглавной повести), поскольку также относятся к условному «Братскому циклу», где действие сосредоточено в районе Братска и Братской ГЭС.

События небольшой повести «Сельгонский континуум» разворачиваются в Сельгонских топях, где кипят поистине шекспировские страсти. Что, если бы действие самого загадочного произведения Шекспира «Буря» происходило не в декорациях далекого экзотического острова, а в глубине жутких Сельгонских топей, а его героями оказались не итальянские короли и вельможи, а советские партийные функционеры, производственники и ученые 70-х годов двадцатого века?

Вертолет директора «Братскгэсстроя» совершает вынужденную посадку в самом сердце Сельгонских болот, где когда-то без вести исчез изгнанный из Братска гениальный ученый и изобретатель Козырев. Козырев не погиб в топях и продолжил работу над своим изобретением – вечным источником энергии. И теперь ученый жаждет наказать тех, кто лишил его будущего, навсегда заперев в Сельгонском континууме, где под воздействием изобретенной им машины творятся странные и страшные чудеса.

Действие повести «Я, Братская ГЭС» происходит в конце 1960-х годов на крупнейшей гидроэлектростанции Советского Союза, куда по поручению Комитета государственной безопасности прибывает известный поэт Эдуард Евтушков для создания большой поэмы о ее строительстве и строителях.

В ходе выполнения творческого заказа поэт вовлекается в череду весьма странных, порой фантастических и даже мистических событий. Евтушков оказывается проводником силы более могущественной, чем партийные органы и госбезопасность, но которая также заинтересована, чтобы из-под пера талантливого поэта вышло лучшее его творение…

В заключение хотел бы уже традиционно поблагодарить Сергея Орехова за прекрасно нарисованную обложку сборника. Очень надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться.

Большую благодарность хочу выразить своему другу Кириллу Кущенко, содействие которого помогло автору издать эту книгу гораздо раньше, чем он смел надеяться.

Last but not least, благодарю Всеволода Алферова, отличного писателя и организатора тех магических производственных процессов, в результате которых данный сборник получил физическое воплощение.

Приятного чтения!

Ваш автор, Казань, 2021

Проба на излом

*А был ли мальчик? Может, мальчика-то и не было?
М.Горький. Жизнь Клима Самгина*

*Проба на излом посредством удара делается на основании
формулы живого сопротивления...
Энциклопедия Брокгауза и Эфрона, статья «Рельсы»*

Часть первая. Пуля для будущего

Инструкция к применению

1. Перенос в личность дитя патронажа происходит при нахождении в нем биологического материала носителя (далее – «наездник»).
2. Перенос «наездника» может осуществляться с помощью ТПД при настройке на несущую частоту альфа-ритма дитя патронажа.
3. В случае гибели личности «наездника» во время переноса, дитя патронажа приобретает способность ограниченное время управлять телом погибшего.
4. (достоверно не документировано) Личность «наездника» оставляет в сознании дитя патронажа фрагменты своей памяти.

(Извлечение из Пурпурной книги, версия 0021, узкая редакция)

Обыкновенное чудо

То, что в трусиках, составляет государственную тайну.

А то, что в голове, – личную.

Но вы должны меня помнить.

По спектаклю «Обыкновенное чудо», который ставился в 1967 году у нас, в Братске-II, и где выпало играть роль. Точнее, две роли – принцессы и принца, близнецов. Конечно, в природе разнополых близнецов быть не может. Но кто знает? Ведь существую. Мальчик и девочка одновременно. И в тоже время – ни то, ни другое, а третье.

Обожаю фильм с Олегом Видовым. Такой красавец! Сколько раз удалось его посмотреть? Столько, сколько фильм крутили в кинотеатре «Падун». Тогда еще и не мечталось, что стану принцем и принцессой, буду репетировать спектакль и вообще. Но за время, что фильм шел, стали узнавать на КПП. Сержант, грозный на вид, широко улыбался, но каждый раз, как и положено, внимательно изучал увольнительную.

Это все Дятлов. По каким-то соображениям он не придерживался строго уставных правил. Подмахивал внеочередную увольнительную, вполуха выслушивая объяснения: иногда честное признание, что иду в кино, иногда враки, мол, нужно в хозяйственный магазин за мылом, будто на складе мыла нет! А один раз довравшись до того, будто на площадь перед станцией должна приехать автолавка и привезти фельдшерские штаны, которые так мечтаю купить, что кушать не могу.

Содержание фильма: в некотором королевстве у короля и королевы долго не было детей. Но вот королева понесла и, к огромному разочарованию короля, вместо наследника родила девочку. Король, желая разогнать грусть-тоску, отправляется на охоту, где убивает медведицу, и хочет убить медвежонка, но перед ним является Волшебник и просит пощадить малыша в обмен на любое чудо. Король требует сделать так, чтобы у него родился наследник, и когда возвращается в замок, ему сообщают радостную весть – вслед за девочкой Королева разрешилась мальчиком. Принц и Принцесса неотличимы друг от друга. Они иногда даже переодеваются, чтобы Принцесса за Принца сдавала уроки учителю танцев, а Принц подменял Принцессу на фехтовании. Ничто не омрачает их детства, но когда Принц и Принцесса достигают совершеннолетия, вокруг замка начинают происходить убийства – где-то бродит свирепый медведь и нападает на домашний скот и людей. Тем временем Король выбирает Принцессе жениха, и тот, о чудо, приходится ей по сердцу. Жених с пышной свитой прибывает в замок на помолвку, но в

ту же ночь его задирает медведь, каким-то образом пробравшись к нему в опочивальню. Принцесса безутешна и угасает от горя. Придворный лекарь говорит, что спасти ее может только похлебка из медвежатины. И тогда Принц отправляется на охоту. Он указывает охотникам где сделать засаду на медведя, а сам исчезает. Медведь появляется в указанном месте, охотники его убивают и провозят в замок. Принцесса желает взглянуть на труп зверя, но когда покрывало откидывают, там оказывается тело Принца, который и был медведем. В человека его превратил Волшебник, решив отомстить за смерть жены, медведя-оборотня, которую убил Король. Принц-Медведь должен был растерзать Принцессу и сбежать в лес, но он влюбился в дочь Короля и пожертвовал ради нее жизнью.

В общем, душепропагандистское кино. Можно даже сказать – душепропагандистское, потому как парочки на него валом валили. Сидят такие – рядом, спереди или сзади, шепчут и чмокаются. Он ей: «Нася, Нася», а она хихикает и в ответ: «Не надо, Ваня, не надо...» Нет, не в порядке осуждения, не ханжа, но лизаться в кино – чересчур. Хотя разок краешком глаза – он ее неумело в подбородок целует, а она глаза скосила на Олега Видова – лихо тот шпагой махает. И чему удивляться, если девчонки подобное допускают – они на месте недалеких парней Видова представляют! Стало смешно, не удержаться. А парень отклеился от подбородка подруги и зыркает:

- Ты чего? – зло шепчет.
- Ничего, – отвечаю.
- Кино смотри, – говорит.
- Смотрю, – отвечаю. – Очень смешное кино.

Юмор он, конечно, не понял. Куда с ФЗУ! Пока так с ним общались, его подружка плашечком подбородок утерла и взглянула – кто с ее хахалем препирается. Заинтересованно. Вот ведь – каждый свое видит, никуда не деться! Хотя, честно говоря, девчонка симпатичная. Накостыляй после кино этому грубияну, она бы и со мной с удовольствием прошлась. Но все это никчемные фантазии.

Тут с заднего ряда между нами возникают два кулачища, грозятся, мол, хватит болтать. Оглядываюсь и вижу двоих из ларца, одинаковых с лица. Один шепчет:

- Не обижает?
- Второй:
- Все равно вместо Видова здесь Миронов должен быть...

Только Дятлов одно видит. Поэтому обезумеваю, когда он предлагает роль в спектакле. Он за столом сидит, папки перебирает и не смотрит, как рот разеваю, слова благодарности сказать, а ничего не выходит.

– Такое вот решение, – говорит. – Свыше, – и пальцем в потолок, так что не перепутать, откуда исходит доверие к печальной личности дитя патронажа. – Приглашен сам Борис Мигдалович Шварцшильд... Гений режиссуры народных театров. Так что...

– Постараюсь оправдать, товарищ майор, – шепчу. И пытаюсь сообразить – на какую роль пророчат – палача или министра-администратора? Про Принцессу или Принца дышать не смею. Куда там! Тут талантов и так полно.

– Почему на спрашиваешь? – Отрывается он, наконец, от папочек, к окну подходит, на подоконник присаживается в любимую позу, папироску мнет.

- А... а о чём спрашивать, товарищ майор?
- Хм. Ну, хотя бы о роли, которую тебе доверил Спецкомитет.
- Насквозь видит. Рентген.
- Перебираю.

– Первой фрейлины? – выражаю предел мечтаний, хотя надеюсь не более чем на вороватую служанку, которая появляется в третьем акте и постоянно ябедничает на Принцессу, набиваясь ей в подружки.

– Бери выше, – предлагает.

Беру выше:

– Лесника.

Тот еще персонаж – алкоголик, живет в грязной сторожке и мечтает убить медведя.

– Чепуха, – морщится Дятлов, – не стоит и огород городить. У меня другой на эту роль приготовлен.

Перебираю дальше.

Роль смотрителя дворцовых люстр и свечей? По габаритам не подойду, он из тех, про кого говорят «69» – что вдоль, что поперек.

Веселые близнецы-кровельщики? Сидят на верхотуре и за всеми наблюдают, едко подшучивая.

Начальник стражи врат дворца? Мимо него и мышь без пропуска не прошмыгнет.

Строгий учитель, вбивающий знания в Принца и Принцессу исключительно розгами? И задающий упражнение – где ставить запятую в фразе «Казнить нельзя помиловать».

– Это я на себя возьму, – усмехается Дятлов. – Бери выше.

Стою, глазами хлопаю. «Неужели?» – мелькает заветная мечта, слишком смелая, чтобы осуществиться.

– Именно, – подтверждает Дятлов. – А кто еще сыграет Принцессу и Принца одновременно?

– Спасибо, – шепчу, в зобу дыханье сперло.

Но тут товарищ майор все мои пополнования пресекает и выражается в том смысле, что это не награда, а ответственное поручение, можно даже сказать – задание в боевых условиях или условиях, приближенных к боевым. Мол, тяжело в учении, легко в бою. Пуля – дура, штык – молодец.

Слушаю науку побеждать, а в толк не возьму – о каком задании речь? Неужели решили извлечь из коробки, в которой то ли есть, то ли нет, и в обойму? Аж дрожь по телу. Лихорадочно припоминаю как обойму в пистолет Макарова вставлять и как целиться.

Стою за театральным занавесом и смотрю сквозь крохотную щелку в зал. Сердце колотится, крепче руку к груди, иначе выскочит, вырвется. Только не посрамить высокого звания народного театра имени И.А.Ляпина, только не посрамить... Поэтому представляю будто зрительный зал здесь, на сцене, а спектакль – там, в зале, который заполняется все новыми и новыми актерами.

Они все здесь.

Руководители Спецкомитета в парадных по такому случаю мундирах с золотыми погонами и планками наград. Их жены в театральных платьях, словно на дворе не шестидесятые, а самые ни на есть сороковые-пятидесятые, как показывают в кинофильмах, – бархатных, тяжелых, в складках.

Дети в таких же праздничных и тяжеловесных одежках – бархатных костюмчиках и пластицах, прилизанные волосенки, мороженое и леденцы в руках.

А еще – офицерский состав, оперативный состав, все различие между которыми – одни в форме, а другие – в штатском, жены и подруги не столь тяжеловесны, а некоторые так и вовсе – воздушны. Словно путешествуешь на машине времени – из давних сороковых, в глухие пятидесятые, а затем – в свингующие шестидесятые.

Театральное действие в зале захватывает не только меня. Рядом пыхтение фрейлин, егерей, слуг, тоже охочих до подглядывания. Принца и принцессу в одном лице и теле тычут ост-

рыми локтями, бесцеремонно толкают. Ну, погодите! В приговоре «Казнить нельзя помиловать» могу поставить немилосердную запятую.

– Смотрите, смотрите, – чей-то сдавленный шепот, – даже Гидромедведь здесь! Сам пожаловал!

– А то как же, – отвечают не менее сдавленно и горячо. – Известный театрал!

– Опять же про медведя спектакль, – хихикают.

Шепот и хихиканье продолжаются, выискиваю среди входящих того, кто причина столь бурного обсуждения. Гидромедведь? Что за зверь такой? Как он может выглядеть? Скольжу взглядом по золотым погонам, шитью, и не могу вырваться из привычного плена Спецкомитетовского контингента. Они – то, что составляет окружающий мир. Кроме них ничего и никого не знаю. И взгляд натыкается на Дятлова. Вот он! Там! Среди других. С кем-то разговаривает, очень похожим, словно близнец… Кажется, Дятлов почувствовал – на него смотрят. Он бросает взгляд в сторону кулис, но тут же отворачивается. Лишь руки совершают движения, будто дирижируют невидимым оркестром. А его собеседник вытягивает руку с выставленным указательным пальцем.

Смотри туда.

Вижу. Освобождаюсь от гипноза золотых погон и вижу.

Его.

Гидромедведя.

Он и правда похож на медведя. Огромный. Поперек себя шире. Упакованный в плотный двубортный костюм. На котором, конечно же, никаких планок. Они ему не нужны. Ни планки. Ни мундир. От него исходит то, что безошибочно выдает Хозяина. Хозяина всего сущего за пределами Спецкомитета. И словно в подтверждение знакомый шепот:

– Хозяин! Хозяин страны Лэпии!

Не знаю такой страны. Пока не ведаю. А Гидромедведь движется в окружении многочисленной свиты. И еще поражает – ни одной женщины. Высеченные из гранита лица. Плотные двубортные пиджаки, настолько плотные и туго натянутые на плечах и спинах, будто изнутри рвется звериная сыть и суть, и только костюмы старомодного покроя не дают ей высвободиться.

Гидромедведь пожимает руки встающим при его появлении генералам, с кем-то даже обнимается, и кажется – это не проявление особой теплоты отношений, а смертельное объятие огромного зверя, которому ничего не стоит порвать в клочья вжимаемого в выпуклую грудь человека.

Продолжаю смотреть, не в силах оторваться, и он ощущает взгляд звериным чутьем, поворачивает массивную, шишковатую голову, и его глаза безошибочно встречаются с моими.

Это выстрел. Из двустволки. В упор.

Отшатываюсь, отступаю, по чьим-то ногам, среди шипения и ругани. Но мне все равно. Мне все равно.

Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты.

Стоим перед залом, кланяемся, улыбаемся, крепче сжимаем руки друг друга. Мистерия спектакля завершена. Единственное, что помню, – все прошло без сучка, без задоринки. Остальное – в тумане. Отдельные расплывчатые картины. И даже сейчас не могу разобрать происходящее в зале. Зрители сидят? Зрители стоят? Бросают на сцену букеты и кричат «браво»? Или подобное чересчур для народного театра? Или на безрыбье и рак всему голова? В Братске есть профессиональный театр? С настоящими артистами? Не знаю, ничего не знаю.

Прихожу в себя в крохотной гримерной, где помещаются только зеркало и стул. Кто теперь в зеркале? Принц или принцесса? Или ни то, ни другое? Или то и другое одновременно? Руки дрожат как после отжимания до отказа. Ватка с вазелином отирает лицо, снимая напла-

стования грима. В дверь стукают, скорее ради приличия, потому как не дождавшись ответа, ее распахивают, и в гримерку входит Дятлов. При параде, в золотых погонах, с планками.

В руках – охапка цветов.

– От твоих новых поклонников, – сообщает, дабы и на мгновение не закралась мысль, что от него. Сваливает букеты на гримерный столик. Некоторые не удерживаются, падают на пол. Наклоняюсь, поднимаю, нюхаю. И ничего не чувствую. Полная анестезия. Всего. Эмоций, желаний, страхов.

Дятлов опирается задом на столик, задумчиво мнет папиросу, разглядывает.

– Как актер актеру могу сказать – вышло недурственно, – прикусывает папиросу, чиркает спичкой. – Конечно, Гидромедведь так просто это не оставит, ответку бросит, но ведь на то охотник, чтобы медведь не дремал… Для первого и последнего раза очень даже недурственно.

Наверное, он ждет: «Последнего?» Но не спрашиваю. Что-то такое ожидалось. Потому как это не спектакль, а работа. Спецоперация. Цель и задача которой исполнителю неизвестны. А известны только место и роль. Точнее – две роли.

Место – театральные подмостки.

Роли – Принц и Принцесса.

– Подождем, – Дятлов смотрит на часы. Глубоко затягивается. Так глубоко, что только это и выдает глубину его напряжения и беспокойства.

Опять стучат. И ждут. Ждут разрешения войти.

Дятлов бросает взгляд на часы, кивает, вроде бы удовлетворенный хронометражем, наклоняется и толкает дверь. В гримерку вплывает огромный букет белых роз. Настолько огромный, что не сразу понимаю – его все же кто-то несет. Кажется цветы движутся сами по себе, без посторонней помощи. И только присмотревшись, замечаешь приставленные к ним ножки. Тонкие, затянутые в капрон, туфельки-лодочки.

– Возьмите… пожалуйста… – щебетание из гущи букета, словно там притаилась крохотная птичка. – Возьмите… вот… чик-чирик…

Порываюсь встать и принять колоссальную вязанку белых роз, но Дятлов вытягивает в мою сторону раскрытую ладонь, будто волшебник насылая оцепенение. Перебрасывает папиросу в другой уголок рта, поддергивает обшлага мундира и берет цветы словно величайшую фарфоровую драгоценность, приговаривая:

– Это кто же нам такой букет подарил? Это кто же нам такую честь оказал?

Держит охапку на вытянутых руках, продолжая загораживать вошедшего, внимательно осматривает, высвобождает руку и погружает ее в плотное облако бутонов, от которых по гримерке распространяется аромат цветов с чем-то похожим на свежесть после грозы. И чудится, будто из букета сейчас ударит молния. Прямо в Дятлова.

Ничего особенного не происходит. Рука благополучно выныривает из цветов, сжимая между средним и указательным пальцами бумажку. Букет летит в мою сторону, еле успеваю подхватить, точнее – обхватить, прижать. Все же он настолько огромен, что загораживает вид на Дятлова и того, кто принес цветы.

Тот, кто принес, крохотная пигалица, птичка, чирикает:

– Можно автограф?

– Мой? – спрашивает Дятлов. Сквозь бутоны вижу, как он расправляет извлеченную из букета бумажку и внимательно читает.

– Нет… товарищ майор… не ваш… – пигалица мнется с ноги на ногу. Крепдешиновое платье шуршит. В руках программка и ручка.

– Ну, так дай, – Дятлов складывает бумажку и сует в карман. – Наслаждайся славой. Она скоротечна.

И выходит из гримерки.

Пишу: «Берегись медведей, могут съесть!» Ставлю закорючку.

Вивисектор

Думаете я ничего не заметил? Как бы ни так! Эти взгляды, ужимки, улыбки, вопросы. Не имей сто пядей во лбу, чтобы понять – они в меня влюбились. Нет, я не ошибся. Именно они. Мальчишечья и девчоночья стороны единой сути. Для мальчишки я старший товарищ, образец мужественного поведения, брат, на которого надо равняться. Для девчонки – первый мужчина, который спас ее, который защищал ее, и в которого она обязана влюбиться. Они не противоречили друг другу, а дополняли, взаимно усиливая чувства каждого. Со временем я научился их различать, даже обращался то как к мальчику, то как к девочке – Иван и Анна, а в целом – Иванна. Хотя понимал: это лишь психологическая уловка, оно – ни мальчик, ни девочка, ни Иван, ни Анна, а нечто совершенно третье, чему и слово подобрать не сможем. Кто-то из умников даже выдал: «квантовоеовое состояние». Хрен знает, что такое.

Нас называют вивисекторами. Мерзкое словечко, которое кто-то почерпнул не из медицины, конечно, а из романа Герберта Уэллса «Остров доктора Моро». С намеком, как бы. Вот они – палачи и ублюдки. Режут по живому. Превращают зверей в людей жестокими опытами.

Если угодно.

Назовите хоть пирогом, только в печь не садите.

Я не возражаю. Потому как суть схвачена верно. Несмотря на. Именно этим мы, вивисекторы, и занимаемся – превращаем зверей в людей. Иногда жестоко. Но всегда – временно. Что поделать, если они – с ограниченным сроком годности?

Стоит слезинка такого ребенка потоков крови взрослых, которых этот ребенок может запросто уничтожить? Лучше застрелить чудовище, даже если его прижмет к груди собственная мать…

А в ней / нем – имелся потенциал. Назовите это чутьем, но я сразу понял, как только на стол легла соответствующая папка. Единственная проблема – состояние, в котором данный материал находился. И они еще смеют нас обличать! Из нее выкачали все соки и бросили нам на перевоспитание. Зверька с чудовищными способностями, которого необходимо натаскать на других, подобных ему зверьков с еще более чудовищными способностями.

Я захлопнул папку и направился к Захер-Мазоху принимать имущество.

Оно сидело в процедурном кабинете – голое, скрюченное, дрожащее, зажав руки между тощими бедрами (как потом оказалось – обычная поза). Коротко и неумело обстриженное. Насквозь пропахшее карболкой.

Не купился на жалость. Жалость – последнее, что испытываешь перед тем, как зверек тебя уничтожит. Порукой тому – ведомственное кладбище. Каждому, кто там лежит, следует посмертно выносить выговор с занесением в личную карточку. За жалость и воспоследующие халатность и разгильдяйство.

Суть воспитания – воспитуй себя сам.

– Ознакомился? – поинтересовался Захер-Мазох с неизживным акцентом.

Необходимость приема парацильса и желательность привлечения «старшей сестры» для нивелировки расщепления сознания… Ага, как же! Обойдется без старшей сестры. А подругу я наметил. Стук, стук, стук, кто твой друг?

– Ознакомился, – отвечаю в тон.

– Последний пункт осмыслил?

– Угу. Только мы гипотез не измышляем и, тем более, ими не пользуемся. Вредно для оперативной работы, знаешь ли. Можно принимать имущество?

Захер-Мазох пододвигает мне описание:

– Принимай. Подопытный – подопытная, нужное подчеркнуть, одна штука.

– Постой-постой, – говорю, – товарищ Захер-Мазох, тело, как говорится, в наличии, душа тоже, вон, глаза лупают, а глаза – зеркало души, хотя мы, коммунисты, в поповские сказки и не верим.

– И напрасно, – бурчит товарищ Захер-Мазох.

– Бросьте ваши австрийские штучки, – стучу костяшкой по столу, – и подайте сюда все остальное, что полагается – трусы, майку, шапку-ушанку, валенки.

– У меня здесь не склад, – говорит Захер-Мазох. – Как привели, так и отдаю. Чужого не надо. У меня своих – целый букет.

Я многое повидал на своем веку, но такого не видывал. И не надо меня убеждать, что все это лишь видимость, что под оболочкой детеныша рода человеческого скрывается зверек, и зверек весьма опасный, которому протяни палец, он и руку отхватит. Но ведь, рассуждая диалектически, вполне могло сложиться и так, что на их эволюционном месте могли оказаться мы. Почитайте хоть Ефремова, хоть Казанцева, а лучше – прогрессивных американских фантастов. Поэтому вежливость, как говорится в известной комедии, – лучшее орудие оперуполномоченного.

Примерно в таком вот аспекте я и выложил австрияку плененному все, что думал о политике партии и народа в отношении воспитуемых и воспытуемых. Но австрияк не лыком шит. Нацистская закалка. Я бы таких к стенке, но Спецкомитет ценными специалистами не разбрасывается. Не мне обсуждать. Гуманизмом его не разжалобишь, хотя партийной дисциплиной, если не уточнять какого рода партию имеешь в виду, – вполне можно призвать к порядку.

Достает он из широких полосатых штанин ключ, хмуро кивает, блестит пенсне, ну, вылитый Лаврентий Павлович в расцвете сил, как изображают Генсека на парадных поясных портретах, отчего подопытный(ая) – нужное подчеркнуть – вскакивает и ничтоже сумняшееся семенит впослед как есть естеством.

– Стоп машина, – командую. – Вы, товарищ Захер-Мазох, хотите всю государственную тайну напоказ выставить? – Намеренно акцентирую «к», чего недобитый фашист терпеть не может, наверное, о чем-то догадывается.

– Тут недалеко, – отвечает австрияк, владелец, по слухам, аж двух картин своего кумира-ефрейтора, которые он вывешивает на стене, когда пьет, по старой венской привычке, утренний кофе. – Так дойдет.

– Не дойдет, – говорю строже, сколько для – нужное подчеркнуть – снимаю с вешалки халат и укутываю имущество. – Доходят только служебные записки и кляузы, и то не всегда.

– Спасибо, – говорит – нужное подчеркнуть, и смотрит так, что сразу понимаю – что именно подчеркнуть.

Девчонка. Не симпатичная, нет. Разве глаза. Худые ключицы в вороте халата. И огромные руки на тонких запястьях теребят края. Жалости не вызывает. Лишь желание накормить. Двумя обедами и компотами.

Врал австрияк. Склад у него тут. Аккуратно разложены по полочкам все виды нательного и верхнего. А также обувка. И еще перчатки. И так мне этот вид знаком, что не сразу соображаю – где подобное видел. Но когда соображаю, поворачиваюсь к фашисту недобитому, беру за грудки, встряхиваю:

– Ты что же, штурмбанфюрер херов, здесь развел? Ты, может, еще и зубы золотые где-то припрятал? Абажуры из кожи?!

– Ви ни есть так поняли, – хрипит, то ли с перепугу русский позабыв, на котором лучше некоторых русаков шпарит, то ли глотку я ему чересчур пережал. – Это все есть имущество сур, понимаете – сур? Нет золотых зубов. Нет абажуров. Нет мыла. Только сур. Штурмбанфюрер Дятлов, ви есть...

Не хочется раньше времени пугать воспитуемую, поэтому отпускаю недобитого фрица и киваю ей:

– Иди, подбери что нужно на первый раз.

А сам папиросу достаю, отхожу к окну. Захер-Мазох халат оправляет. Отворачиваюсь, смотрю на лес за забором. Курю. А когда заканчиваю вторую, понимаю – воспитуемый что-то долго возится. Все в том же халате от кучи мужской одежды к куче женских тряпок бродит, как Буриданов баран, неуверенно берет двумя пальцами тряпочку, осматривает и обратно укладывает.

И только теперь соображаю какую обузу на себя взвалил.

– А насчет «старшей сестры» ви подумайте, герр Дятлов, – продолжает талдычить Захер-Мазох. – Суицидальные наклонности в их положении...

– Я сам суицида не люблю, и подчиненным не позволю, – строго отвечаю. Но здесь нацист недобитый прав – за этим чучелом глаз да глаз нужен. А лучше – четыре глаза.

Остановка «Сосна»

– Соседка? – прохрипел расхлюстанный человек, кулаком упираясь в косяк, другой рукой шаря в карманах. – А... А по какому такому... ик... праву? По какому... ё... тебя, ссыкуху...

И так каждый день. Стережет, что ли? Во сколько ни возвращаюсь, сосед-алкаш тут как тут, обдает перегаром, чудовищной смесью лука и чеснока, от которых хочется бежать и не оглядываться. Он похож на тех собак, мимо которых хожу на явку – огромных, страшных, свирепо лающих. И хоть сидят они за крепким забором, до верха которого еле-еле достают лапами, идти мимо очень страшно. И фамилия под стать. Лихолетов. Коля Лихолетов.

Здесь тоже жутко. Будто на другой планете. И в другом времени. Но еще более мерзко смотреть в пьяное лицо с багровыми прожилками, опухшее, похожее на посмертную маску. Хочется достать пистолет и выстрелить в рожу. Выпустить всю обойму. Как учили – контролируя темп и отдачу. И заодно провалить задание. Не оправдать возложенных ожиданий. Не случайно Дятлов выбрал пристанище на улице Ямбуя, около остановки «Сосна», на самой границе Братска-II. Тут еще одна роль. Девочки, которую третирует сосед-алкоголик. Которую пугают собаки. Которая не знает как заваривать чай и что нужно сделать, чтобы пожарить картошку на сале.

Дятлов только открыл дверь, впустил внутрь, прошелся по кухонке и комнате, и кратко кинул:

– Располагайся.

И ушел. Оставил без присмотра. Как никогда раньше.

Вот тебе бабка и Юрьев день.

Умом понимаю – так и следует поступать с новым штатным сотрудником оперативного отдела Спецкомитета. Выбросить в новое, непривычное место и приказать приспособливаться. Вживаться. Не отсвечивать. Но в душе ворочалась обида на Дятлова.

Лампочка под потолком ярче, чем в лаборатории. Но здесь ее можно выключить, что и делаю, остаюсь в темноте. Сажусь на чемоданчик – пока единственную мебель – и пригорюниваюсь. Потом ложусь, в чем есть, на пол, калачиком, подумав – хорошо бы завести кота и назвать Шредингером.

И засыпаю.

И просыпаюсь, когда совсем рассвело.

В первый раз прослав побудку.

Потому что никакой побудки не было.

Не играл включенный на полную громкость Гимн Советского Союза, не распахивалась дверь, не звучала резкая команда: «Подъем!» После которой нужно соскочить с кровати, встать прямо, руки по швам и ожидать утреннего осмотра. И дальше день катится, как заведенный, размеченный строгим расписанием физзарядки, процедур, опытов, перерывов на принятие пищи и туалет, занятий, тренировок и опять процедур, опытов и небольшого пятака личного времени, отмеренного с такой скучной точностью, которой хватало лишь на подшивание и стирку. Суббота – ПХД, все воспитуемые и воспытуемые до одурения мылят полы, стараясь добиться такой густоты пены, которая удовлетворит сержанта Палейчука, а потом соскабливают ее каблуками от сапог, а особо провинившиеся – кусками стекла, добиваясь от полов почти зеркального блеска. Воскресенье? Забудьте про воскресенье.

Чемоданчик, одним словом. Скудное казенное бельишко. Исключительно мужское, Дятлов приказал. Мыльные принадлежности. Потрепанный томик Уэллса с «Машиной времени» и «Островом доктора Моро». Все остальное – на теле и на гвоздике. Проспать не значит не умыться. Но висящий в кухне агрегат, из которого получают горячую воду, чересчур сложен. И спичек нет. Поэтому умываюсь холодной водой, не привыкать – откуда в казарме горячая? Хочется обмыться с ног до головы, смыть последние остатки привычной серой жизни. Но решаю потерпеть до лучших времен, когда обзаведусь спичками, мылом душистым и неказенным бельишком.

На кухне радуют стол, табурет и плита. Висячий шкафчик с криво прикрученными дверцами. Есть чайник, кастрюля, сковородка, ложка, вилка, кружка и плитка, похожая на шоколадную, с надписью «Чай краснодарский». И конфеты «Ведмедик клюшконогий». Конфеты про запас, а чай – это хорошо. Наливаю в кружку воды из-под крана, откусываю от плитки и отхлебываю. И сквозь слезы понимаю, – так жить нельзя.

Мир переборок

– Наш мир – корабль, плывущий в светлое будущее через опасный океан. Через Ледовитый океан. Сквозь льды, снежные бури, полярную ночь. У него много палуб, он сияет огнями, но это не должно обманывать – там нет места и времени отдохну и безделью, на борту кипит нескончаемая работа. У каждого свое место, свое дело, свое задание, и каждый должен исполнять свой долг, невзирая ни на что, даже ценой собственной жизни. Иначе ничего не получится. Кто-то прокладывает маршрут. Кто-то отдает команды. Кто-то следит за ледовой обстановкой. Но есть и те, чье задание кажется не столь важным – убираться в каютах, готовить еду, стирать белье. Но в том-то и штука – необходим каждый. Каждый. Единица – что? Единица – ноль. И никто не гарантирует, что корабль дойдет до пункта назначения. Он может столкнуться с айсбергом. Он может попасть в паковые льды. Да что говорить, ведь даже команда – всего лишь люди. Люди могут дать слабину. И захотеть покинуть корабль. Сказать: не нужно нам никакого светлого будущего. Вполне достаточно сытого и теплого настоящего.

– И что, если льды? – спрашиваю. – Подавать сигнал бедствия как челюскинцам? Сходить на лед?

– Бесполезно. На помощь никто не придет. Все будут только рады, если корабль потерпит катастрофу, а экипаж и пассажиры погибнут. Но такого не случится. Никогда.

– Почему?

– Корабль устроен очень разумно. Он разделен на отсеки непроницаемыми переборками. Переходы между отсеками охраняются специальными людьми, которых называют кромечниками. Понимаешь? Если льдина проломит один отсек, и пробоину не удастся залатать, вода заполнит лишь его и не пойдет дальше. Корабль останется на плаву.

– А что будет с теми?

– С кем?

– Ну, кто в отсеке.

– Они утонут. Но остальные будут жить, – он приподнимается на локте и внимательно смотрит. Мурашки ползут, до того живо представляется – каково оставаться в затапливаемом отсеке. – Ладно, хватит. Шагом марш в душ.

Таков мир по Дятлову. Встаю, по благообретенной привычке пытаясь прикрыть то, что товарищ оперуполномоченный видел множество раз и в натуре, и на фотографиях в личном деле, иду в душ. Точнее, на кухню, где опытной рукой зажигаю колонку, а потом в ванную, где погружаю тело в горячие воды. И продолжаю размышлять о мире. Очень он беспокоит, мир.

Когда возвращаюсь, товарищ оперуполномоченный продолжает лежать на полу, курить и стряхивать пепел в стоящую рядом кружку. При этом кружку не видит, но движения руки рассчитаны до ювелирной точности – мимо ничего не сыпется. Любуйся, Иванна.

Внезапно решаюсь.

– А можно попасть в соседний отсек?

Наглость несусветная. После такого – стоять по стойке смирно или совершать внеочередной ПХД в самом засранном сортире самой дизентерийной больницы. Или под чутким руководством сержанта Палейчука совершать строевые упражнения на плацу, под укоризненным взглядом товарища Лаврентия Павловича, в парадном мундире смотрящего с первого портрета в ряду «Гордость части». Но нужна одежда. Какую носят девушки. Иначе не определиться. И он всегда будет смотреть как на парня. Не хочу.

Дятлов молчит, уже не надеюсь получить ответ. Не всякий вопрос достоин его ответа, знаю. Иногда он объясняет – почему так. Но чаще – молчит. Словно и не слышал. И когда надежды нет, говорит:

– Мы разделены переборками. Пространством и временем. Временем и пространством. Для их преодоления нужно совершить поступок. Или проступок. Поступок или проступок.

От слов веет таким холодом, что зябко. Кожа покрывается мурашками.

– Чтобы попасть в ЭТОТ отсек, мне пришлось подушкой удушить любовь, – говорит Дятлов, продолжая курить и ювелирно стряхивать пепел. – И это не метафора.

Молчу. Что о нем знаю? Ничего. Он появился в этой жизни из ниоткуда. Впрочем, это существование у кого-то повернется язык назвать жизнью? А существованием? Так, прозябанье. Детка в клетке. Хотя… порой нечто смутное мелькает в памяти. Неясные картины. Вернее – тени. Будто имелось и в прозябанении нечто теплое. Или всего лишь сон? Не знаю.

– А ты на что пойдешь, чтобы побывать в соседнем отсеке?

– Некого задушить подушкой, – дерзю. Не знаю откуда такая смелость. Как пить дать – получу энное количество нарядов вне очереди. К уже заслуженным ПХД.

– Это как раз самое простое, – он даже не смеется. – Знать – для чего ты это делаешь и сделать. Но так везет не всегда. Чаше двигаешься наощупь. В кромешной тьме. И душишь на ощупь, не разбирай. Что, если придется убить собственного отца? Или мать?

– Сирота, – напоминаю.

Дятлов приподнимается на локте, смотрит.

– Тогда того, кого приучил?

Братск-І

Соседний отсек в мире по Дятлову расположен на страницах «Огонька», где подробно освещается нынешняя мода. Перелистываю номера. Перебираю одежду. Фильдерперсовые штаны, конечно, практичны, подходят и мальчикам и девочкам, но девочки мечтают о пальтиях. Вечером получаюувольнительную и пачку билетов, а утром уже на ногах, хожу из угла в угол в ожидании проводника. Хватаю истрапанный журнал и в сотый, тысячный раз разгля-

дываю юбки, жакеты, платки. Сегодня в моде голые коленки, как выражается Дятлов. Смотрю на коленки, но они скрыты штанами.

Хорошо представляю проводника. Это дьявольски элегантная Одри Хепберн. С сигаретой в длинном мундштуке. Она стоит на пороге, опирается локотком на косяк, подносит к ярко накрашенным губам мундштук и разглядывает несляянную и неразличенного – смесь пацанки и пацана. Точно такая, как в «Завтраке у Тиффани». Или еще элегантнее. Например, в «Как украдь миллион». Куда до нее! И ради чего? Оперативник Спецкомитета должен быть сер и незаметен. Сливаться с местностью и толпой. А не расхаживать по городу в умопомрачительных шляпках и перчатках до локтей. В здешнем климате они непрактичны. Гораздо практичнее телогрейки, ватники и кирзовье сапоги.

Так себя успокаиваю, пока не понимаю, что сдаюсь почти без борьбы. Определенность нервирует. Девочка? Почему именно девочка? Выбрать эту сторону тела, которое никакой стороной не обладает? Или ее определил Дятлов? Нужна ему девочка в отряд, вот и будешь. И сегодняшний поход – не развлечение, не потакание, не поощрение, а выбор и подгонка боевой амуниции. Только так, и никак иначе.

*Я все отдам тебе, все прелести за это,
А здесь ты ходишь, извиняюсь, без браслета,
Без комбинэ, без фильтекосовых чулочек
И, как я только что заметил, без порточек.*

* * *

Представляю, как она удивилась, когда вместо какой-нибудь Одри Хепберн увидела перед собой Надежду Константиновну Крупскую в последние годы жизни. Я не хочу сказать, что нашей Надежде Константиновне уже пора туда, откуда обычно не возвращаются, наоборот – таких сотрудников поискать, молодежь ей и в подметки не годится. Но слова из песни не выкинешь. Такая внешность. Боевая подруга вождя. Великого Владимира Ильича. Со всеми прилагающими. Седина, морщины, выпущенные глаза, как от базедовой болезни, бесформенные одеяния, цель которых скрыть то, что уже не вызывает ничего, кроме жалости. И желания проводить на почетную пенсию, наградив именным оружием. Но я в себе это желание подавляю. А именное оружие у Надежды Константиновны и так есть. От самого.

– Я вас прекрасно поняла, Владимир, – говорит Надежда Константиновна. – Можете не беспокоиться за свою воспитанницу, она будет выглядеть так, как и положено выглядеть девушке ее лет. Искренне и моложаво.

Так и сказала – «искренне и моложаво». Старая, старая черепаха Тортilla – вот что она такое.

Затем – Локоть. Близок локоток, а не укусишь. Ей даже фото не нужно, два раза они встречались, не случайно, конечно же. А посему – доложить, когда объект прибудет на место. Вести до самой крайности, а когда крайность возникнет, сообщить. Всё, свободна.

И, напоследок, еще звонок. Крайне неприятный, но что поделать – надо пользоваться всеми возможностями для пробы на излом.

* * *

Но кому, как не нам, знать – внешность обманчива. Поэтому идем по улицам – дать не взять внучка с бабушкой.

– Дорогуша, как себе представляете ваш идеал? Неужели ту взбалмошную Принцессу, в роли которой я вас видела?

Пышное платье и кружевные панталончики? Ну нет!

– Или что-то близкое к Принцу? Порой мужской стиль идет молодой необузданной девушки. Вот, помнится, княгиня Щербатова… а графиня Щеповская…

У нее много чужих воспоминаний, потому как никакой княгини Щербатовой и графини Щеповской она знать не может. Не в тех сферах уродилась. Но излагает вдохновенно. Вспоминает как по писанному. Да и что такое память? Ее ли не понять, когда с трудом разбираюсь – что в ней, в голове, свое, а что – чужое. И если черепахе Тортилле простиительно, учитывая ее заслуги, то для воспитуемого каждое чужое слово – немедленное возвращение туда, откуда извлекли. В воспытуемые. Для тщательного документирования недокументированной способности.

– Есть у революции начало, нет у революции конца, – почти напевает она. – Ах, революция, мир в смешанном состоянии, в неустойчивости, куда толкнешь, туда и покатится… верите, милочка, я почти скучаю о тех временах…

Садимся в автобус, похожие на бабушку и внучку.

– Билеты, милочка, – говорит бабушка, протягивает кондуктору бумажку с Титовым. Тот внимательно нас осматривает, так же внимательно разглядывает портрет первого космонавта, но, прежде чем отдать оторванные билетики и сдачу, подносит к носу внучки щипчики-компостеры и щелкает. Будто прокомпостировал.

Больше никто в автобус не сел. Пока одни. Отъезжаем от остановки «Сосна» и приезжаем на остановку «Проспект Мира» в Братске-І. Даже не замечаю, как пересекаем границу, и только огромный деревянный указатель «Братск» отмечает уход с территории Спецкомитета. Линия электропередачи уходит вглубь тайги, а на проводах, словно наблюдатели, две крохотные фигурки. Машу им, но вряд ли они видят с верхотуры – оттуда впору будущее высматривать. С доски почета смотрит Гидромедведь собственной персоной, подмигивает, скалится, мол, берегись, теперь ты в моем воеводстве. Вокруг простые братчане, и даже в кошельках не спецкомитетские билеты, скрепленные в книжки, а дензнаки с портретом В.И.Ленина.

*Я не знаю, как это сделать,
Но, товарищи из ЦК,
уберите Ленина с денег,
так цена его высока!*

Хочется достать кошелек и внимательнее рассмотреть бумажки, выданные из спецхрана. Надежда Константиновна замечает возню, выпрастиывает руку из муфты и берет ладонь. У нее ледяные пальцы.

– Успокойтесь, голубушка, все будет хорошо, как говорил покойный князь Голицын, услышав выстрел «Авроры».

И все действительно оказалось хорошо, когда в какой-то подворотне размазываю по щекам слезы, а Надежда Константиновна сидит на заметенной снегом земле, прислонившись спиной к стене, и еле вздрагивает в агонии. Кровавый след ясно отмечает откуда пришли, найти бабушку с внучкой не составит труда.

Нападение

– Развлечешься или побрезгуешь? – спросил меня.

Проверял. Смотрел зло и лизал ствол. Мороз прихватывал кончик языка. Он рвал ствол. Сплевывал кровь.

— С удовольствием, — говорю. И штаны расстегиваю. Хотя знаю — бесполезно. А кукла смотрит. Не моргнет. Не зажмурится. Будто что-то подозревает. Или надеется. Но надеяться не на что. Не такая ситуация.

— Дуба дала, — говорит. Труп пинает, но старуха так и сидит. Снегом запорошенная. — А то бы и с ней, да?

— Да, — говорю. — Может, не здесь? Холодно.

— Ха, — говорит. — Холодно жмуриков ебать, смазки нет. Здесь или никогда.

Кукла дрыгает ногами. Помню такие — у сеструхи. Целлулоидная. Почти как целка. Присставляю нож, хриплю страшно:

— Нос отрежу, никто потом не позарится.

Строю из себя опытного. С ходками. Малолетка не в счет. А самому жутко. И не пойму — чего больше. Того — со стволом, или эту — с глазами. Вырезать их. Раз ножичком, два ножичком. Но кишка тонка. Орать будет, придется язык резать. Или горло. А тот трупы оприходовать не любит.

Рву трусы. Туда не смотрю. Отвращение. Даже за сеструхой не подглядывал. Ну, когда переодевалась. Как у коровы. Ей-ей. Палку бросить — ладно, а смотреть — нет.

Кукла пищит. Дрыгается. Понимает, целку драть буду. И хорошо. Понимание.

— Жарь быстрее, — сипит тот. — Дырку не найдешь? Так я в башке ей сделаю.

— Не надо в башке, — говорю. Ищу. И не понимаю. — Вот черт!

— Чего чертов поминаешь? — говорит.

А я и сказать не могу. Не могу сказать. Слов больше нет.

— Потерялись, дяденька? — кукла говорит. И хочется приложить ее. Кулаком. Еще разок. И сама шарит. Помогает. Блевать хочется. Ее старуху укокошили, а она. Ноги расставляет. Сама.

И тут охота напала. Будто первый раз ломал. Потому не долго. Спустил. Отвалиться хочу, а не могу. Кукла нож держит. Откуда нож?

Тот ничего не видит.

— Скоро обжималки закончишь? — спрашивает. И ржет: — Целовать не обязательно. Приложи разок — бабы до этого охочи.

А она мне горло ковыряет. И опять я ничего. Только больно. И холодно. В том месте. Видеть не могу. Но понимаю — перо заталкивает. В глотку. И шепчет. Шепчет. Тихо, мол, тихо. А я ничего — тихо. Помираю. А когда помер, понял что делать. Встать и разобраться. Бугор, ты хоть и бугор, но права не имеешь. И откуда такая мысль пока не пойму, лишь послушно киваю, прикрываю воротником дыру в горле, сажусь на колени и ширинку застегиваю. А еще ей пальтишко на колени голые надвигаю — прокол почти, но тот, который стоит, ничего не замечает, с папиросиной возится, пытается на ветру разжечь.

— Ну, все что ли? — сквозь зубы цедит. Глубоко затягивается, на оставшуюся жизнь, потому как истекла его жизнь, была и кончилась, и порукой тому нож, который ему в живот пыряет. И еще поворот в одну сторону, и поворот в другую сторону, как учили, наверняка. До болевого шока, когда отключается у человека ощущение смерти, боли, агонии, а возникает эйфория, кайф, по-ихнему.

Продолжаю сидеть, подобрав ноги, ничего не чувствуя. Тоже эйфория, обычная после того, как подобные штуки приходится вытворять. И приди кому в голову выпустить обойму, тоже, наверное, ничего не почувствую. Ведь нет жалости к мертвой Надежде Константиновне. И к бугру, и его мелкому подельнику.

Вокруг никого. Только шумит за подворотней город Братск под номером один. Да на снегу хнычет бугор, зажимая дыру в животе, откуда хлещет черная кровь. Но кажется, что ворота заскрипят, распахнутся, и вбежит Дятлов, а за ним — опергруппа, суровые, надежные,

вооруженные, и деловито зачистят побоище, и даже Надежду Константиновну вытащат оттуда, откуда никто и никогда не возвращался.

Ждать надоедает. Оправляюсь, встаю, иду, качаясь бычком. Прислоняюсь к столбу, только для того, чтобы спрятать оружие. И еще разок подумать. Думать полезно. Иногда даже приятно, хотя не в этот раз. Возвращаюсь обратно, ощупываю бугра, что копался в сумочке Надежды Константиновны, отыскиваю кошелек. Он еще не все, хватает за пальцы, шепчет, но ничего не слышу, только тыкаю пальцем в глаз посильнее, чтоб из глазницы. Вот так – хлюп.

Допрос бугра

Прокачка. То, что раньше никогда не удавалось. Когда в считанные минуты после схватки нужно выкачать из объекта все, что знает. Выжать до последней капли. Любыми средствами. С пылу, с жару. Пока еще не подготовился, когда правда из него брызжет, точно из переспелого фрукта, только стисни крепче. И жми, жми, выдавливая сок в посудину собственной памяти.

– Кто? Кто? Кто? – задыхаюсь, бормочу, держу за грудки и бью об окровавленный снег. Как было проще, если бы именно ты первым позарился на куклу. Но нет.

Бугор кряхтит, плюется кровью, закатывает оставшийся глаз. Сдохнет. Как пить дать, сдохнет. Зачем пустил вперед малолетку? Или вообще не нужны девочки? Привык в ходках к другим отверстиям? Так за чем дело стало, бугор? Не знал? Или, наоборот, слишком много знал, поэтому не решился? Кто такой, черт тебя раздери на тысячу клочков?

– Жить... – еле слышно хрипит. Так тихо, что приходится сдерживать дыхание. Это нелегко. Сердце стучит, в ушах будто молот. Бам! Бам! Бам! – Жить... помошь...

Надежда тоже хотела жить, хоть и старуха... встречу тезку, обязательно спасу, клянусь... перед надеждами должок...

– Будет помошь! Будет! – кричу, а на самом деле всего лишь шепчу на ухо. Лучше корешей нет, бугор. Только скажи, открай – кто навел на неприметную парочку – старуху с внучкой? Неужели не понимали, с них как с козла молока? Или оголодали, озверели, готовы бросаться на все что движется? Не верю! Станиславский, помоги, не верю!

– Кто навел, сволочь?! Кто навел??!

– Люди... люди... – хрипит, кровавые пузыриki лопаются. Никакая помощь не понадобится, поздно пить «Боржоми», но ведь этого не понимает, разве не так? – Серьезные люди... электрические люди... из будки вылезли... черти из будки... череп...

Электрические? Люди? Из будки? Кто? Что?

– Электри... лю...

Все.

Кончено.

Отпускаю бугра и сползаю. Загребаю снег и сую в рот. Не глядя. Металлический привкус. Привкус крови. Снег пропитан кровью.

Три трупа.

Дятлов будет доволен.

Взгляд на трансформаторную будку с черепом, молнией и грозным предупреждением: «Не влезай! Убьёт!»

Всё так спутано...

И Дятлов доволен, хотя выслушивает хмуро, брезгливо оттопырив губу. Папироса забывчиво дымится между пальцами, сжатой в кулак руки. Так и чудится – размахнется и жахнет по рапорту со всего маху. Только искры в стороны. Но другая рука расслаблена. Указательный постукивает по столешнице. Тук-тук, тук-тук, тук-тук.

– Еще раз, – требует Дятлов. – От начала и до конца со всеми подробностями. Самыми мельчайшими. Физиологическими.

Не удивляюсь. Его стиль. Пишется рапорт. Затем – устный доклад. Затем доклад повторяется. Еще и еще. До изнеможения, когда память окончательно сдается и щедро высыпает до того скрываемые подробности, о которых забываешь. Но, надо же, – вот они! Последнее усилие – самое продуктивное. Все остальное – подготовка, подход.

Повторяю тщательно, вдумчиво, с физиологическими подробностями. Как для врача забеременевшая институтка. Это не. Это Дятлов. На подобные метафоры нет воображения. И способностей.

– Стоп. Почему бугор не оприходовал тебя первым?

Вопрос вопросов. Почему вас, товарищ стажер, не изнасиловали оба бандита, а только один и, к тому же, наиболее никчемный?

– Не знаю, товарищ майор, – только каблуками не щелкаю. Больше не повторится.

– Жаль, – Дятлов разжимает кулак с папиросой и затягивается. – Жаль, – выдыхает дым. – Дальше.

Дальше. И дальше. И дальше.

– Электрические люди, – Дятлов барабанит пальцами, смотрит. Хорошо, что про будку ни гу-гу, бред ведь. – Кто такие, по-твоему?

– Не знаю, товарищ майор.

– Я и не говорю, что знаешь, – с раздражением бурчит Дятлов. – Предположения? Гипотезы? Версии?

– Может, название банды? – неуверенно предлагаю версию.

– Электрические? Хм… – шевелит челюстью, словно про себя повторяя еще и еще раз: «Электрические… электрические…» – Чересчур респектабельно, не находишь? Все равно что банда имени двадцать третьего съезда капээсэс.

– Так точно, товарищ майор, – соглашаюсь, хотя понимаю – согласием раздражаю Дятлова еще больше. И он скажет на свой тягучий манер: «Так какого хрена ты мне околосицу несешь?!»

Но ничего такого не говорит. Понимаю – Дятлов доволен. Очень доволен.

Вот только – почему?

Кромечник

– Ты это читал? – Кондратий вытащил из портфеля два журнала – «Ангара» и «Байкал» – положил на стол. – Опубликовали поначалу в малотиражке «Разведчики будущего», потом предложили в журналы. Малотиражку мы благополучно прохлопали, а журналы отложили. Заложено закладками.

Я беру, листаю, отдаю.

– Читал. И что? Хорошая фантастика.

– Вы там в Спецкомитете вообще от реальности отвалились? – Хват схватил верхнюю книжицу и сунул мне под нос так, что пришлось откинуться назад. – Вот это – про детей с необычными способностями. А эта, – он ударил кулаком по второй, – про то, что делает эволюция с людьми.

– Не преувеличивай, там о другом. К тому же идеи витают в воздухе. Все об этом пишут. И даже фильмы снимают. Про полет на Марс, например.

– Марс меня не интересует, – отмахнулся Кондратий. – Это все научная фантастика, а точнее – фантастика ближнего прицела. А здесь – серьезно. Это шпионаж, шпионаж будущего.

– Слушай, – говорю примирительно, – пусть так. Шпионы будущего. Прекрасно! Но от меня что хочешь?

Он не ответил. Достал папиросу, размял, прикусили, чиркнул спичкой. Посмотрел.

— Так-так-так, — тянулся к журналам, беру один. — В кое веке кромечники обратились в Спецкомитет за помощью. С чего такая честь?

— Во-первых, это ваша епархия, — Кондратий выпустил густую струю дыма, — а во-вторых, нужен кое-кто необычный. Для подстраховки.

— Значит, они в Братске?

— Братья в Братске, — усмехнулся Хват.

— И тебе нужен мой воспытуемый?

— Назовем так.

— И что ты будешь делать?

— Ты действительно хочешь знать?

— Напугаете?

— Проведем профилактическую беседу, — поправил Кондратий. — Попытаемся наставить на путь истинный. В конце концов, писать про изобретение трактора на атомном ходу тоже очень интересно.

— Вот только читать — мучение.

— А это как написать, — хладнокровно сказал Кондратий. — Талантливо или бесталантливо.

— Думаешь, согласятся?

Он пожал плечами.

— Всегда есть альтернатива. Писать в стол. Ждать десятка два лет, пока пройдет срок давности, и тогда выйти в тираж.

— Все-то у вас просто, у кромечников.

Кондратий поморщился.

— То ли в Спецкомитете — сплошное благорастворение воздухов. Как, кстати, поживает Страна ЛЭПия? Воюете?

— Не мы начали, — говорю. — У нас — атомная энергетика, у них — гидроэнергетика. И вместе нам не сойтись.

— Да, наслышаны, — усмехнулся Кондратий. — Гидромедведь так просто свое царство не отдаст. Закон — тайга, медведь в ней царь. Да и в фаворе они, вон какими темпами развиваются. Один только Ангарский каскад чего стоит. И Братское море.

— Звучит как братская могила, — разговор перестаёт быть томным, но чувствую — Кондратий приехал в том числе и за этим. Прозондировать почву. Войти в курс. Измерить напряжение. Напряжение? Изволь. — Им волю дай, они на дно всю Сибирь опустят, как Атлантиду. Слыхал о Матёре?

— Это откуда старики отказались уезжать? Островок какой-то?

— Вот-вот. Деревенька на острове. Погост. Дерево еще какое-то вековечное у них росло. Хват достал очередную папиросу, размял курку:

— Только не говори мне, что они эту Матёру на дно вместе с жителями пустили...

— Темная история, — тоже берусь за папиросу. — Никто толком не разбирался. Но пугалку из нее сделали — будь здоров. Чтоб никому неповадно.

— Атомная энергетика — тоже не подарок, — сказал Кондратий. — Станция рванет, мало не покажется.

— Типун тебе на язык, — искренне. — Не допустим. Не позволим.

— Гидроэнергия, атомная энергия — прошлый век, — морщится Кондратий. — Вот генераторы Козырева — это будущее. Я пробиваю начальство перейти на них.

Извлекает из бездонного портфеля совсем неожиданные вещи — весы, гироскоп, набор гирек и поглотитель вибраций. Уравновешивает раскрученный волчок, подключает виброга-

ситель. Идеальное равновесие. Дальше следует серия чудес – растворяем сахар в чае – равновесие нарушается, добавляем лимон – равновесие нарушается.

За такие фокусы не грех и выпить.

Кондратий налил водки, хрустнул огурцом и сообщил, словно невпопад:

– Мир в смешанном состоянии, понимаешь? Будто некто должен сделать решающий выбор, но не хочет или не может… Вот и существуем, словно кот в ящике, то ли мертвые, то ли дохлы… Они мне нужны для формирования позитивного образа будущего. И, что важнее, – диагностики. Чтоб у вас станции не рвались, а Матёры на дно не уходили.

От его манеры неожиданно перескакивать с темы на тему в разговоре отвык, поэтому несколько секунд соображаю – к чему он?

– Братья? – И вспоминаю: в училище нас с Кондратием принимали за братьев. Кастор и Поллукс, тоже мне.

– Ага. Они, может, и не великие писатели, но у них есть то, что нам крайне необходимо. Понимаешь?

– Воображение? – предполагаю.

– Печень, – серьезно сказал Хват. – Нам нужна их печенка, которой они ощущают общественный запрос. И если после книг о счастливом коммунистическом будущем они вдруг сочиняют махровую лемовщину-кафкианство, для нас это сигнал. Тревожный звонок. В обществе происходит нечто нехорошее, нужны неотложные меры. Заворачивать гайки. Или спускать пары.

– Птички в клетке, – Кондратий посмотрел вопросительно. Поясняю: – Шахтеры использовали птиц для определения скопления метана. Который мог рвануть и уничтожить всю шахту. А птицы его хорошо чувствуют.

– Птички в клетке, – повторил Хват, хмыкнул, хрустнул огурцом.

Пули будущего

– И сколько мы должны будем все это скрывать?

– Не понимаю, – Кондратий закурил. – О чем ты?

Смотрел в окно на кольцо Мира, по которому движется переполненный автобус.

– Вот это. Наши литературные города. Группу советских войск на Хоккайдо. Полет на Марс. Или про Марс уже знают?

Кондратий хмыкнул, стряхнул пепел в блюдце.

– Для этого все и делалось. Чтобы до поры до времени никто ничего не знал. И не догадывался. И даже в сборнике Фантастика-1967 не прочитал. Корабль с непроницаемыми переборками. Помнишь?

Как не помнить. Эту байку даже Иванне рассказывал.

– Ты ведь понимаешь – иначе не получится. Модельные расчеты…

– К черту расчеты! – Хлопаю ладонью по столу. – Люди – вот в чем вопрос. Выдержат они такую нагрузку? Все эти годы нехватки, нищеты, когда капиталистические страны будут обходить нас по производству жратвы, тряпок, приемников, телевизоров? Ведь они когда-то спросят – а чего ради?! Ради чего Советская власть, если я, рабочий бригады коммунистического труда, живу в десятки раз хуже рабочего, из которого пьет соки его капиталистический хозяинчик? А ведь они спросят. Обязательно. И что мы им ответим? Предъявим? ОГАС? Полет на Марс?

– Должны выдержать. К восьмидесятому году будем жить при коммунизме, не забыл?

– Да-да, слышал. Только…

– Эксперименты Мао нам не по плечу. Большие прыжки и культурные революции – вот цена отказа от базовой модели построения коммунизма. Но Китай склонен к опасным

социальными экспериментами. Не удивлюсь, если через десяток лет они выберут другую крайность – какой-нибудь капитализм с национальной спецификой и под руководством коммунистов. Лучше держаться от них подальше и подольше.

– А если не успеем? Двенадцать – пятнадцать лет – всего ничего. Что тогда?

– Успеем, – сказал Кондратий. – Обязательно успеем. К тому же... Чем черт не шутит? Этих ваших детей не стоит сбрасывать со счетов. Смогли поставить себе на службу атомную энергию, построить Братскую ГЭС. Так неужто с детьми не справимся?

– Иногда мне снится кошмар, что нет, – говорю. – И они не дети, далеко не дети. Они – пули. Пули будущего.

– Как ты сказал? – переспросил Хват.

– Пули, отлитые будущим, чтобы воевать с настоящим.

– Чересчур красиво формулируешь, – покачал головой старый товарищ. – Что мои разведчики будущего. Пуля из будущего для разведчиков будущего – самое то. Я вообще думаю, что никаких братьев нет... это один и тот же человек, только из двух разных будущих... Они тут давеча такое насочиняли... когда завершат, пришлю экземплярчик для прочтения. Ну и что?

– Ты ведь знаешь, по всем нашим разработкам спецконтингент проходит как «дети патронажа». Дурацкое название, французщиной отдает. Я так и не смог докопаться, кому первому оно пришло в голову. Не по-нашему, не по-простому – спецдети, хотя бы.

– Спецдети, – Кондратий словно на вкус попробовал словечко. – Хреново, доложу тебе, звучит. У вас в Спецкомитете все с приставкой спец-. Даже борщ в столовой, наверное. А дети патронажа... свежо.

– Свежо должно быть летним утром. Ну, да не суть. Патронаж – патронташ. Понимаешь? Вот это меня и зацепило, что ли. Эти дети, на самом деле, – пули. Мы их можем разглядывать, можем разобрать, порох высыпать и поджечь. Можем по капсюлю долбануть. Но вот оружия, обоймы, в которую можем их зарядить, у нас нет. У будущего – и оружие, и обойма. И дети в эту обойму снаряжены, один к одному, один к одному, один к одном, – приговариваю и отступаю по столу. – И оружие это, пистолет – к виску нашему приставлен. Мы еще трепыхаемся, кропчемся, что-то доказать силимся, а пистолет-то – вот, у виска. И будущее его в любое мгновение применить может.

– Тебе книжки писать, – покачал головой Кондратий. – Научно-фантастические. А лучше кота завести, чтоб живая душа в квартире.

– Есть у меня кот, – отмахиваюсь. – Я его и не вижу, только слышу – жрет, мявит и в лотке скребется... не в этом дело... Нам нужна ответка. Нам тоже необходимо оружие для пуль, которое мы этому будущему к башке приставим. Оно – нас, а мы – его. Все по-честному. Без дураков. Как с Америкой – они нас за яйца атомными бомбами держат, так и мы у них тоже место мозолистой рукой сжимаем.

– Политика гарантированного взаимоуничтожения, – сказал Хват. – Как ты только можешь быть вивисектором – не понимаю...

– Не воспринимаю их людьми. Они – животные, лишь до поры обладающие разумом, чтобы прикидываться нами. «Остров доктора Моро» читал? Нейтрализовать животное проще.

– А ты не боишься однажды столкнуться с чем-то, что только будет казаться дитем патронажа, а на деле – совершенно иное, с чем ни ты, ни весь твой Спецкомитет не натасканы бороться?

– Прекрати пересказывать мои собственные кошмары, – говорю зло и опрокидываю рюмку.

Разведчики будущего

– Что за станция такая – Бологое аль Ямская? – спрашивает первый брат, входя в кафе «У Бори и Аркаши».

– А с платформы говорят: «Это станция Зима», – второй брат толкнул первого, замершего на пороге и осматривающего переполненный зал.

Кафе – звучит гордо. На деле – забегаловка для работяг. Со стойками вместо столиков, разваренными пельменями и бульканьем «мерзавчиков», втихаря разливаемых под столом, где на крючках висят авоськи. Братья осматриваются. Осматриваю их. Точно знаю – они выберут нужный столик. Эти высотники-монтажники – только-только с пылу, с жару стройки, неотличимые друг от друга, в спецовках, широких ремнях с цепями, запорошенных очках, которые почти одновременно снимают, протирают чистыми платочками.

Делаю вид, будто вылавливаю особо разваристый пельмень из жижицы под названием бульон.

– Свободно? – первый.

– Не занято? – второй.

Для порядка хмурюсь, словно вспоминаю – не зарезервировал кто столик, потом мотаю головой. До Лизы Саровой мне, ой, как далеко в актерском мастерстве.

– Благодать! – первый.

– Мы не очень помешаем? – заботливо второй.

– Кушать никто не запрещает, – буркаю. – Только рычаги не расставляйте.

– Какие рычаги? – переглядываются.

– Вот эти, – показываю и расставляю шире.

Аркаша и Боря смеются.

– Нет-нет, локти мы на стол не ставим, – говорит Аркаша.

– Не учителя еще, – добавил Боря. – Недавно к нам? Мы вас раньше не примечали.

А как догадались, что к вам, чуть не ляпаю, но тут же соображаю: на стройку Братской ГЭС.

– Ага, взяли на основные сооружения.

– Нет-нет! – машет руками Аркадий. – Прозреваю будущее – ждет тебя дорога дальняя, трефовая дама и пиковый король! И никаких основных сооружений!

– Мы это знаем, – кивнул Борис. – Мы, скажу по секрету, тоже из будущего.

– И как будущее?

– Светло и прекрасно! – восклицает Аркадий.

– Темно и ужасно! – вторил Борис.

– Как так может быть?

– Мы из разных будущих, – говорит Аркадий.

– Более того, мы вообще один человек, – пояснил Борис, еще больше запутывая.

– Человек один, но из разных будущих, вот и получилось нас двое. Парадокс кайронавтики.

– Поэтому мы не в силах предотвратить грядущее – то, что меняет один, другой исправляет... Вот и решили – выдать себя за братьев и заняться общественно полезным трудом.

– Путешествия во времени – парадоксальная штука. Вот так ненароком убьешь собственных родителей... – начинает Аркадий, но Борис ткнул его локтем:

– Балда, кому в голову придет убивать собственных родителей?

Мне. Но благоразумно умалчиваю.

– Всяко бывает... Я говорю – не-на-ро-ком! По ошибке или вообще – случайно. Раздавил бабочку, а машина с дедушкой под откос свалилась...

Пока балагурим и шуткуем, подлетает официанточка. Здрасте, да что угодно, да давно не виделись, не изволите откусить?

— Что можете нам предложить, Альбертина? — щурится Аркаша. — И когда откроете нам свою великую тайну?

Альбертина плечиком дергает, румянцем заливается, хихикает, передничек оправляет. Смотрю широко открытыми глазами. Это не Принцессу на сцене играть. Тут талант нужен.

— А где ваша сестра Эйнштейния? — поинтересовался Боря и подмигнул.

— О чём вы такое говорите, — жеманится Альбертина, — не сестры мы вовсе, она мне в бабки годится, товарищ хороший.

— Ах, Альбертина, Альбертина, — качает головой Аркаша, — не желаете раскрыть свою страшную тайну. Нам, писателям-фантастам, которых пельменями не корми, дай рассказик в «Знание-сила» тиснуть.

— Хороший бы получился рассказик, — кивнул Боря. — Теория относительности ныне в почете. Всё, понимаете, Альбертина, в мире относительно.

— Ой, — вскрикивает Альбертина, — ну, что вы такое говорите, наказники!

— Видишь ту даму бальзаковского возраста? — нарочито шепотом говорит Аркаша и показывает пальцем.

— Вижу, — отвечаю, — а что за возраст такой?

— Возраст нашего пространственно-временного континуума, — объяснил Боря.

— Альбертина, — говорит Аркаша, приобнимая смущенную официантку, — из другого пространственно-временного континуума, скорость движения которого относительно нашего была столь велика, что ее возраст оказался в два раза меньшим, чем у сестры-близнеца. Так ведь, Альбертина?

— Ну вас, — Альбертина вырывается и почти убегает. В другой пространственно-временной континуум.

— Парадокс сестер-близнецов, — сказал Боря.

— Опять девушку смущаете, охальники? — Дама бальзаковского возраста выросла у нашего столика.

— Эйнштейния, здравствуйте! — с преувеличенной радостью восклицает Аркаша.

Но Эйнштейния лишь обмахнула столешницу грязной тряпкой, попутно чуть не сметая тарелку, которую успевала поднять.

— Как ваше здоровье? — вежливо спросил Боря.

— Не дождется, — буркнула Эйнштейния. — Все люди как люди, пельмени поели, шкалик разлили и обратно — на стройку. А вы тут рассиживаетесь (— Расставляемся, — поправляет Аркаша, но официантка не заметила), разговоры какие-то затеваете, девчонок смущаете. Может, у вас в Бологом так и принято, а у нас, в Братске, все люди — братья и товарищи.

— Даже сестры? — уточняет Аркаша.

— Даже черт с собакой, — отрезала Эйнштейния.

— Понимаешь, — сказал Боря, когда вновь остаемся втроем, — мы давно обратили внимание на невероятную схожесть Эйнштейнии с Альбертиной. Кто-то мог бы подумать, что они мать с дочкой или бабка с внучкой, но воображение не терпит легких путей.

— Классический парадокс близнецов, — Аркаша машет Альбертине. — Если одного близнеца посадить на фотонную ракету и отправить в релятивистское путешествие, то для него время будет течь гораздо медленнее, чем в нашей системе отсчета.

— На Земле, то есть, — пояснил Боря. — Вот смотри...

— Никаких уравнений! — восклицает Аркаша и прихлопывает тетрадку Бори, которую тот достал из кармана. — Объясняем на пальцах. Как в научно-популярном фильме.

И они принялись объяснять.

— Вопросы есть? — спросил Боря, когда они заканчивают.

– Есть, – говорю. – Откуда у Альбертины релятивистская ракета?

– Вот! – поднимает палец Аркаша. – Вопрос вопросов!

– Если говорить честно, мы не знаем, – признался Боря. – Но есть фантастическая гипотеза.

– Похищение, – страшно шепчет Аркаша.

– Инопланетной цивилизацией, – еще страшнее добавил Боря.

– Меня всегда удивляло – как люди воспринимали Землю плоской, да еще со слонами и черепахами, – вдруг объявляет Аркаша. – Что, если все так и было?

– Как? – изумился Боря. – Уж не хочешь ли сказать, будто Земля и впрямь была плоской и стояла на дурацких слонах?

– Именно, – тычет в его сторону вилкой с насаженным разваристым пельменем Аркаша. – Я называю это сильным антропным принципом. Вселенная создана так, чтобы полностью соответствовать возможности существования в ней человека. Физического существования, уточняет слабый антропный принцип. Но человек – не только организм. Это еще и – мышление, – Аркаша стучит пальцем по лбу. – Понимаете? Значит, что?

– Что? – спрашиваю, ибо уже соображаю – кому все это говорится, ведь между собой они эти темы тысячу раз обсудили, обсосали, обточили, а теперь разыгрывают хорошо отрепетированный спектакль.

– Меняется мышление – меняется и вселенная. Мироздание первобытного человека – совсем не то, что мироздание древнего грека, и, тем более, человека эпохи Возрождения. И мир человека коммунистического завтра будет отличаться даже от мира социалистического сегодня. Там будет не только человек коммунистический, там будет коммунистическая физика, коммунистическая социология и, даже, коммунистическая биология! Поэтому не стоит смеяться над представлениями древних, мол, Земля плоская, солнце вращается вокруг нее, а звезды – хрустальная сфера с огоньками, что на твоей елке. Для них все так и было.

Извлечение двоих

– Как вы пишете вдвоем? – спрашиваю. – Наверху?

– Очень просто, – говорит Аркаша. – Во-первых, сверху далеко видать, до самого будущего. Во-вторых, ничто не мешает думать.

– Мы и думаем, – подхватил Боря. – Кричим другу другу сюжет, отдельные фразы. Кому фраза не нравится, тот предлагает свою. Слово за словом. Предложение за предложением.

– А потом приходим сюда и записываем, – Аркаша хлопает по тетрадке. – Единственная проблема: пишем неграмотно. Даже в вечерней школе у нас правильнописание хромает.

– Не подумай плохого, – подмигнул Боря. – Оно есть, это правильнописание. Но хромает. На обе ноги.

– И что вы видели в будущем?

– Тебя! – хором отвечают братья, переглядываются, смеются.

Альбертина возвращается, расставляет тарелки с разваристыми пельменями. Наверняка, Эйнштейния постаралась зачерпнуть поглубже из огромной кастрюли, в которой они готовятся.

– Вот, записывай: «Я их вижу – мне время тех дней не застит, не прячет во мгле....» – нарочито громко начинает Аркаша.

– «Я их вижу: широких, красивых, глазастых на мудрой Земле!..» – подхватил Боря.

Тетрадка нетронутой лежит на столешнице.

Братья замолкают, смотрят друг на друга.

– Ты чего, Роберт?

– А ты, Рождественский?

- Ты пишешь аккуратнее.
- А ты грамотнее.
- Какой толк в грамотности, если каракули? Склифосовский не разберется.
- Могу попробовать, – предлагаю. – И почерк, и грамотность без ортопедических проблем.
- Аллилуйя! – восклицают хором братья и пододвигают тетрадку в две руки. Суют цанговый карандаш.
- Мороз крепчал… – начинает Аркаша.
- Потекли весенние ручьи… – продолжил Боря.
- Молодая графиня…
- Бедный художник…
- Записываю.
- Мы написали кейфовать? Кейфовать? Нет, вычеркиваем.
- Напишем проще: и крепко его обняла…
- О чем повесть? – невзначай интересуюсь, выводя слово «крепчал».
- О золотой мухе, – Борис зачерпнул варево, осторожно подул. Сморщил нос: – Такой запах, будто Эйнштейния поставила их варить в первую годовщину исчезновения Альбертины.
- О стране водяных, – поправляет Аркаша.
- Понимаешь, – сказал Боря, – это сатирическая вещь. Или юмористическая. Про то, как два соавтора встречаются в Бологом и сочиняют повесть. А над ними летает золотая муха, их подслушивает и творит говенные чудеса.
- Какие-какие чудеса? – уточняет Аркаша.
- Боря уточнил.
- А еще там живет спрут, который играет на аккордеоне. Осемью щупальцами. И релятивистские сестры. И…
- Откуда ты это все взял? – Аркаша смотрит на Борю.
- Здрасьте, Новый год, мы это вторую неделю на проводах обсуждаем.
- Бакалдака! – Аркаша стучит по столешнице. – Мы обсуждаем совсем другое. Понимаешь, это повесть про детей, которые обладают необычными возможностями, и про взрослых, которые их ужасно боятся и поэтому делают еще более ужасные вещи… вот, в первой части должно быть…
- Не пугай мальчика, – прошептал Боря.
- Аркаша сбивается.
- Мальчика? Какого мальчика? Очки протри, девица перед нами.
- Иванна, – пользуюсь поводом представиться.
- Вот, – постучал ложкой по столу Боря. – Иван! Понимаешь?
- Какой еще Иван?! Анна, глухомань, Анечка!
- И они спорят. Нет, не об их визави – многое чести. Иван, Анна – какая разница? Но грех обижаться. Рассеянно листаю полученную тетрадочку, мысленно фотографирую содержимое. А в голову тискаются неподобающие мысли. С девчачьей стороны. О том, что не прочь с ними. «Не прочь» не развиваю, не распутываю до самой остановки «Сосна», ведь они наверняка живут в мужском общежитии.
- Все это тысячу раз было, – говорит Аркаша.
- Мне неприятно писать про этих твоих детей, – оттопырил губу Боря.
- Они не мои, – говорит Аркаша.
- А чьи? Мои? – разгорячился Боря. – Или его?
- Они – наши, – говорит Аркаша. – Мы этот сюжет с тобой вторую декаду обсасываем на проводах. О том, как землеройки пожирают динозавров… метафорически… – Аркаша отхлевывает из тарелки через край.

— Ладно… — вздохнул Боря и тоже приложился к тарелке, — уговорил. Тогда начнем издаlekа…

— С Хоккайдо?

— Поехали.

Дело пошло. Пошло так бодро, что диву давалось — как здорово у них получается. Наверное, когда сочиняет один писатель, ничего особенного не происходит — сидит человек, карандаш грызет, в потолок смотрит, а потом — баx! — пишет. «Я помню чудное мгновенье…» Или кляузу на соседа, который в это время решил вбить в стенку гвоздь.

Здесь и сейчас все вшире, все настежь. Пишем. Сочиняем. Смеемся. Жутко спорим, брызгая слюной и пельменями, которые окончательно остывли, превратившись в покрытую жиром неаппетитную массу. Один предлагает фразу, другой тут же разнёс ее в пух и прах, но предложил свою, которую ждет столь же печальная участь, но когда кажется, что этому фразосражению не будет ни конца, ни края, вдруг выковывается то, что ни у Аркаши, ни у Бори не вызывает возражения, и предложение записывается в тетрадь счастливым цанговым карандашом.

Особенно ловко сочиняют диалоги.

— Ты за бабу, а я за мужика, — говорит Аркаша.

— Поехали! — подхватил Боря.

В первый раз даже не соображаю, что это не их очередные препирательства, а препирательства героев, пока Боря не толкнул под руку: записывай, мол, давай! Записываю, аж бумага дымится.

И все окружающее куда-то исчезло. Отодвинулось далеко-далеко. Остались только они — братья-писатели, по совместительству монтажники-высотники, да их скромный секретарь, по совместительству — оперативный работник Спецкомитета.

А затем все закончилось.

«Наверное, он выстрелил, потому что мир изменился.»

— Подпиши, — говорит Аркаша, — станция Зима тире Братск.

— И дату — апрель-ноябрь тысяча девятьсот шестьдесят седьмого.

— Мы в апреле это задумали, — поясняет Аркаша, закуривая.

— А в ноябре завершили, — тоже закурил Боря.

Смотрю на ворох страниц перед собой.

— И что с этим делать?

— Читать, — пожимает плечами Аркаша. — Это для тебя.

— Исключительно для тебя, — кивнул Боря. — А продолжение…

— Продолжение сочинишь, — Аркадий, озабоченно смотрит на часы. — Где же они?

— Что хорошо в релятивистском кафе, так это то, что время относительно, — усмехнулся Борис. — Ну, долго еще ждать?

Хлопает дверь, впуская ледяное дыхание улицы.

Дятлов.

Часть вторая. Операция «Робинзон»

Стрельба по-македонски

На стрельбищах остались вдвоем. Автоматные очереди стихли, бойцы собрали гильзы и погрузились в машины. В наблюдательном пункте – дежурный да наряд. На нас они не смотрели, обсев печку и отогревая промерзшие руки. Руки – это важно. Береги руку, Сеня. А точнее – Иванна.

– Что с ними будет дальше? – спросила она то, что и должна была спросить. По моим расчетам. Должна была раньше, но дотерпела до такого вот момента. Обманчивого уединения.

– С кем? – прикинулся я, ведь и это от меня ожидалось. Не стоит обманывать чужие ожидания. Дабы не расстраивать друзей и вводить в заблуждение врагов собственной предсказуемостью. И напел:

– Если друг отказался вдруг…

Хмурится, став больше похожей на девчонку, чем на пацана. Капризную девчонку.

– Ты понял.

Достаю сигареты «Друг» и пытаюсь закурить на ветру. Ветер сбивает огонь со спички. Но на любую непогоду имеется хитрый прием. Выдвигаю крышку коробка и прячу зажженную головку внутри. Затягиваюсь. Кашляю. Нет, это не «Друг», «Враг» какой-то.

– Не наше дело, – говорю. – Наше дело – выслеживать, хватать, валить, а когда не получается хватать и валить, метко стрелять. Как по мишеням. Не забивая голову лишними вопросами. Много вопросов – много печали, стажер. И вообще, смирно! К стрельбе приступить!

Нужная струна зацеплена. Мне самому не понравились выверты с кромечниками. Кромечник – друг, но, как ни крути, а ящики у нас конкурирующие. Словно в США. Нет, не словно. У нас – здоровая конкуренция, за все хорошее. А у них – нездоровая, где человек человеку товарный фетиш. У нас – борьба хорошего с очень хорошим, а у них – за прибыль. У нас… С усилием прерываю политическое коловорощение. Ерунда это, а в сухом остатке – застарелая дружба однокашников, которых судьба свела в одном училище, а потом зацепила парой острых ситуаций на границе. Был у майора Деева товарищ, майор Петров.

Докурить и довспоминать не успеваю – курсант хватает со стола оба пистолета и отрабатывает мишени стрельбой по-македонски. Отрабатывает грамотно, без напряга, характерного для новичков. Словно родившись с пистолетами. Любо-дорого смотреть. Все внимание на мишенях. Очередность. Одновременность. Черные точки гнездятся на белой бумаге. Двоих на раз уложит.

Не веду и бровью, чтобы не возгордился. Хуже нет для курсанта чувствовать доброе отношение начальства. Тем более – любовь. Ибо любовь начальства исключительно одного рода. Того, за которую статью припаивают. В переносном смысле.

– Почему без разрешения изменили задание, курсант? – интересуюсь ласково, с любовью. Не хвалить же.

– Товарищ майор, … как лучше…

– Как лучше, товарищ курсант, решают ваши старшие товарищи и ваш наставник. А потому, товарищ курсант, за злостное нарушение правил поведения на стрельбах марш-бросок до казармы и внеочередной пэхэдэ. О количестве внеочередных нарядов сообщу позже. Все ясно?

– Так точно, товарищ майор. Разрешите приступить?

– Приступайте. Время пошло.

И время поОшло.

Низы

Парково-хозяйственный день удался на славу. Руки ныли. Костяшки пальцев кровоточили. Длинный коридор между кубриками казармы пришлось драить в одиночку. И не каблучком сапога. А обломком стекла.

И спину ломило. И юбка казалось нелепой. Чересчур короткой. А блузка – чересчур узкой. Но все неудобства от перемены пейзажа. Внешнего и внутреннего. И название подходящее – Низы. Братск с литерой один.

Тихо играет джаз.

– Что будете заказывать? – Официантка, чистенькая, крохотная, с белой наколкой в густых волосах.

– Водку, – говорю.

– Коньяку двести грамм, – Дятлов не обращает внимания. – И медвежатину, Насёна, как полагается по ассортименту.

– Так ведь Иван Иванович строго воспрещает… – Насёна округлившийся ротик блокнотиком прикрывает.

– Ничего, мы ведь Гидромедведю не служим, у нас своя контора, – Дятлов подмигивает. – И свои охотники.

Рука дружески придерживает Насёну за талию, официантка не возражает, продолжая строчить в крохотном блокнотике.

Всегда хотелось знать – что они там пишут. Впрочем, вру. Никогда не хотелось. И опять вру. Потому как никогда ничего подобного не попадало воочию. Только в кино.

– А к нам Евтушенко заходил, – говорит Насёна. – Он в доме культуры поэму про нас читал, а потом сюда.

– Про вас? – усмехнулся Дятлов. – Про официанток кафе «Падун»?

– Ой, нет, что вы! – Насёна хихикнула, вновь прикрыв ярко накрашенный ротик блокнотиком. – Про ГЭС, про Братскую ГЭС. Так поэма и называется: «Я, Братская ГЭС». Неужели не слышали? Даже по радио передавали.

– Люблю вас, – говорю, когда Насёна убегает за заказом.

Дятлов в привычной позе – на стуле боком, нога на ногу, локоть на спинке, между средним и безымянным – сигарета. В профиль к курсанту. Глупому созданию. Смотрит на эстраду, где музыканты в ослепительно белых рубашках и узких галстуках старательно трудятся над инструментами, извлекая шуршащие звуки джаза.

«Что теперь будет?» – мелькает мыслишка. Вполне бабья. Даже не девичья. «Попрет», – отвечает голос. На еще одно пэхэдэ. Но он молчит, будто и не рассыпал. Зачем привел сюда? Будем теперь разоблачать поэтов? Разведчиков не будущего, но душ? Такой пригодился бы, разведать собственную душу. Которая есть смятение.

Разглядываю стоящий на столе железный цилиндр с прорезанными дырками – большими и малыми, откуда сочится бледный свет. И вдруг понимаю, что чересчур свыкаюсь с ролью.

– Кто ты? – вдруг спрашивает он, и не сразу соображаю – кого и о чем.

– Принцесса? Принц? Или медведь? – Дятлов не смотрит, продолжает курить.

Пытаюсь разобраться. Натянутая на пятерню кукла Петрушка – кто? Голова, грубо размалеванная красками, с жутким напомаженным ртом и бубенцами на колпаке, или, все же, пальцы, заставляющие шевелиться руки и болтаться башку?

– Курсант Спецкомитета, – шевелю губами. Но он слышит. Даже не так – знает. Шепот не проникает сквозь плотную завесу музыки и танцев.

– Правильно, – Дятлов стряхивает пепел. – Курсант – понятие среднего рода, чтобы не говорила тебе учительница русского языка. Не он, не, тем более, она, а – оно. Почти как началь-

ство. Но бесполость начальства проистекает из его божественности, – глаз Дятлова хитро прищуривается. Он – камбала. – А бесполость курсанта – от его бесформенности. Он – глина в руках начальства, грязен, податлив и склонен застывать в приданых ему формах, принимая, в силу ограниченности, их за совершенные и прекрасные. И он, в каком-то смысле, прав. Курсант прекрасен, когда драит пол, чистит сортир и стреляет по-македонски. Когда на брюхе преодолевает полосу препятствий. И даже когда признается в любви к начальству, он прекрасен, если в этом нет буржуазной пошлости, а есть лишь не совсем умелое проявление любви к родине и верности идеалам коммунизма. Ты ведь любишь родину, которая с детства взяла на себя весь груз забот о тебе?

– Это долг, – отвечаю твердо.

– А идеалы коммунизма?

– Это убеждения.

– Тогда причем тут любовь? – спрашивает Дятлов. – Ведь во мне, кроме родины и идеалов коммунизма, ничего больше нет. Разве что умения перегрызать врагам горло, но это дело наживное, благоприобретаемое. К тому же, ты в форме курсанта, а значит – парень. Форма определяет сознание. А любовь мужика к мужику у нас уголовно наказуема.

Запутавшись, молчу. А чего хотелось? Впустую произнести признания, как дореволюционная институтка блестящему царскому офицеру? Вожу пальцем по столу, провинившись.

Он протягивает руку и накрывает ладонь.

Когда приносят горячую медвежатину, не могу запихнуть в рот ни кусочка. Будто человечина. Дятлов усмехается и съедает обе порции.

Мирное сосуществование

– Они опасны, – сказал тогда Дятлов, но, устыдившись излишней кривизны аргумента, поправился: – Вы опасны. Классового врага можно уничтожить, классово близкого – переагировать, если он колеблется в выборе. Но ни Маркс, ни Ленин ничего не знали о вас. Объектом их диалектики являлась человеческая история, а целью – построение справедливого общества, справедливого человеческого общества, уточним для определенности. Нечеловеческая история и нечеловеческое общество не поддаются методам учения, которое всесильно, потому что верно, но всесильно и верно исключительно в приложении к человеку.

Лежим в излюбленной позе в его кабинете: на полу, голова к голове, щека к щеке. Он еще и курил, что неудобно, порой угольки обжигают лоб.

– Зачем говорю об этом? Между нами не должно быть неопределенностей. Недоговоренностей. Советская власть накопила достаточный опыт мирного сосуществования с врагами классовыми. Почему ей не накопить такой же опыт мирного сосуществования с врагами эволюционными? Социализм есть порождение индустриального развития капиталистической системы. В этом его сила и в этом, не будем скрывать, его слабость. Капитализм и коммунизм – смешанная реальность, которую необходимо распутать. Индустриальная система, выкованная в недрах капитализма, практически плоть от плоти, несет его несмыываемые черты. Она заточена под частную собственность, под частный интерес, под чистоган, обогащение, под пролетариат и хозяина, а нам приходится пользоваться ею для построения коммунистического общества. Брать способ производства, но отвергать возникающие по его поводу общественные отношения, подменять их другими. Вот только получается плохо. Пока.

Дятлов закряхтел, устраиваясь поудобнее. Под перекатом мышц спины доски пола скрипели.

– Тунеядство. Скверное качество. Бесконечная штурмовщина. Спекуляция. Мещанство. Думаешь, никто этого не замечает в угаре победных реляций к очередному съезду или пленуму? Приходится противопоставлять этому паллиатив обещаний, мол, нынешнее поколение

советских людей будет жить при коммунизме, причем коммунизм понимается исключительно как материальная сверхобеспеченность. Чтобы у каждого было все. По потребностям. Страна Лимония, где сто гудков, и все на обед. Но в том-то и дело: потребности тунеядца, мещанина – неограничены. Их бездонную глотку вещества никакой коммунизм не заткнет. Особенно построенный на капиталистическом типе производства.

Он остановился, глубоко втягивая сигаретный дым, а затем выпуская его кольцами к потолку.

– Значит, – уточняю, – к восьмидесятому году коммунизм построить не сможем?

– Не сможем, – подтвердил Дятлов. – Даже если сосредоточимся исключительно на подъеме материального благосостояния, капитализм даст нам жару. Уже дает. Изобилие товаров на полках магазинов не приближает коммунизм, а отдаляет. Необходим новый человек. Человек эпохи коммунизма. Капитализм возник тогда, когда в недрах феодального общества вызрели не только материальные, но и духовные предпосылки. Человек эпохи капитализма появился гораздо раньше, чем капитализм возник. Конечно, марксистско-ленинское учение утверждает – измените общественные отношения, изменится человек. Уничтожьте частную собственность и собственность на средства производства, и коммунистический человек будет прорастать там и тут, будто грибы после дождя. Но что показала практика построения социализма? Классовая борьба усиливается, как только социалистический способ производства начинает вытеснять капиталистический. Искоренить хозяйствиков в душе гораздо сложнее, чем запустить человека в космос. И что мещанину следует потакать, манить его не только светлым коммунистическим будущим, но и сытым, изобильным настоящим.

Он встал. Приказал:

– Оставайтесь лежать, курсант.

Зашагал из угла в угол кабинета. Возникает дурацкая мысль, будто в один из проходов начищенный до блеска сапог наступит на руку. Или грудь. Или лицо.

– Такая постановка задачи не подразумевает хорошего решения. Капитализм и коммунизм не смогут сосуществовать долго, кто-то обязательно падет. И я бы не ставил уверенно на коммунизм. Мы гуманно ориентированы. Капитализм не отягощен сентиментами. Фашизм показал – для защиты от социализма капитализм готов выродить любое социальное чудовище, только бы повергнуть врага. Он будет постоянно нападать. Подтачивать. Соблазнять. Угрожать. И нам придется ускоренными темпами строить экономическую базу коммунизма. К восьмидесятому году советские люди должны, кровь из носу, жить при коммунизме. Или страна падет. И коммунизм нужен даже не столько нам, а как пример остальному миру. Но для достижения недостижимой цели необходимы невероятные инструменты. Понимаешь, к чему клоню?

Он остановился, разглядывает. Хочется вскочить на ноги, встать по стойке смирно, только бы избавиться от ощущения распятой на препараторском столе бабочки, которую внимательно рассматривают, примериваясь куда воткнуть иглу. Но понимаю – двигаться нельзя ни в коем случае. Он отошел к окну, присел на подоконник, достал очередную сигарету.

– Перед нами наименеесложная из задач – заменить мирное сосуществование двух систем мирным сосуществованием двух разумных человеческих рас, – сказал Дятлов. – Человечества и детей патронажа. Почему нет? Чем это хуже сосуществования социализма и капитализма? Необходима тщательная подготовка. Просчет вариантов. Оценка рисков. Пробы и ошибки. Ошибки и пробы. И проверки. Тщательные проверки. Если угодно – на излом, дабы определить предельный уровень нагрузки, который способно выдержать человечество, мирно сосуществуя с детьми патронажа. Равно как и уровень нагрузки для вас, чтобы определить – до какого предела вы способны оставаться верными человеку. Где границы вашей преданности? И здесь трудность. Кажется, спроси, допроси, пытай, засади психологов. Но, на самом деле, такое ни к черту не годится. Все равно, что лететь в космос, продолжая вращаться на центрифуге,

но так и не сев в космическую ракету. Практика – критерий истины. Нужна... необходима... архиважна проверка на излом.

«Космос»

– Сказки кончились, – сообщаю с холодком, – начинаются суровые оперативные будни. Замок щелкает, дверь открывается. Половина лица и глаз. Настороженный и внимательный. Как учили. В невидимой отсюда руке – пистолет. Сколько раз нужно было вломиться в дверь, чтобы выработать все до автоматизма? Могу гордиться, но гордиться нечем. Наташать человека на зверя – легко. Наташать зверя на человека – естественно. А вот зверя на зверя? Сейчас и узнаем. Последняя китайская проверка. Вся суть которой – китайская проверка никогда последней не бывает.

Переступаю порог и оглядываюсь. Обживается. По сравнению с тем, что было, прогресс космический. Даже запах затхлости выветрился.

– Чай, товарищ майор?

– Чай не водка, много не выпьешь, – изволит пошутить товарищ майор. На самом деле – мгновение слабости. Слепое пятно. Потому как система определения «свой – чужой» в замешательстве – кто перед ней? И пусть не рассказывают, будто мужчина опаснее женщины. Опыт доказывает обратное. Жестокость и беспощадность женщины иного свойства, недостижимого нами, мужиками.

Слепое пятно сужается. Воспытуемый в домашнем. Волосы убраны. Старательно косит под девчонку. Только-только на строительство из ФЗУ. Табельщица. Или диспетчер. Придирчиво разглядываю. Излишняя старательность. Глаза долу, пальцы подол разглаживают. Если бы не рука за спиной, в которой пистолет, было бы на четверку. Балл долой за старательность. Впрочем, естественность – дело наживное.

– Держи, – протягиваю коробку. – Чтобы быть в курсе последних событий в стране и мире. Не «Спидола», но как звучит: «Космос»!

Принимает коробку. Одной рукой. Неуверенно улыбается.

– Здесь есть радиоточка, по утрам гимном будет. Очень громко играет.

– Звуки гимна родной страны по утрам – то, что необходимо, – соглашаюсь и прохожу на кухню. – И где чай? Дядя Дятлов не просто так к родной племяннице заглянул.

Пока возится с чайником и посудой, распаковываю приемник. Достаю из кармана «Крону»,держиваюсь от того, чтобы лизнуть по контактам, вставляю в гнездо. Снаружи прибор ничем не отличается от тех, что продают в магазине «Электротовары» на кольце Мира. Так и должно – чудо параллельной сборки. Все отличия только внутри. Не в форме, так сказать, а в содержании. В содержании у него мощный резонатор Шумана, или, как говорят в Спецкомитете, ТПД. Хотя лично мне подобные вольности не по душе, ибо веет от них признаком этой самой души.

Колоколю ложкой внутри чашки, пока кусок сахара не растворяется. Пробую. Терпимо. А ведь кому расскажи, что это чудо заварку прямо в кипящий чайник бросало, не поверят.

– Сезон прохладления объявляю закрытым, – говорю строго официально. – Отныне и навсегда. Начинаются суровые оперативные будни, где добрый дядя Дятлов, которому можно плакаться в жилетку, если перекосило патрон в стволе, уже не добрый дядя, а товарищ командир. К тому же, товарищ командир отныне не всегда будет в пределах досягаемости, прямой видимости и даже слышимости. Но рядом с тобой всегда будут другие товарищи, которые, если что, подскажут, а ежели подсказать не смогут, придется выкручиваться самостоятельно. По полной и без сентиментальностей. Понятно?

— Так точно, товарищ командир, — чуть ли не вскаивает. И глаза блестят. Засиделась в девках, засиделся в парнях. И если насчет Робинзона у меня и был люфт действовать по собственному усмотрению, то теперь это усмотрение обрело вящую уверенность.

— Вольно, курсант, — усмехаюсь. Узнаю — когда-то и сам был такой. Трудно поверить, но и дядя Дятлов был когда-то молодым, зеленым, наивным и даже, дьявол его раздери, подумывал об артистической карьере. Сложись по-иному, может сейчас бренчал на гитаре в каком-нибудь фильме про мужественных альпинистов или с надрывом выкрикивал на сцене: «Быть или не быть!» Не окажись рядом товарища Ляпина. У обычных людей тоже есть свои ТПД.

Лицо вытягивается, когда пододвигаю «Космос» и начинаю инструктаж. Такого подвоха не ожидалось. И сейчас как никогда похож на парня. Пацана. Принимает позу, в которой застал его у Захер-Мазоха — ладони между колен, спина сгорблена, нос повешен.

— Думал… думал… — бормочет в мужском роде. Чует, что ли? Чувствует, как сейчас вижу — не девчонкой, не пацанкой, а мальчишкой, которому требуется командирское внушение. Без всяких скидок на пол. Хотя, у нас в стране равноправие. Это вон, на загнивающем Западе феминистки какие-то бузят, равных прав с мужиками добиваются вместо того, чтобы строить социализм.

— До самостоятельности дорasti надо, — хочется протянуть руку и щелкнуть по носу. — А пока изволь свою шкурку опытным людям одолжить. Ненадолго. Гарантирую.

Вскидывается и смотрит на меня. Опять перевертыш. Нет пацана. Передо мной девка. Некрасивая, но из тех, про которых говорят — с изюминой. Или — червоточиной? Вот это и проверим.

Но личный подарок тоже имеется. Именной экземпляр «Остров доктора Моро» оставляю на столе. Пусть штудирует.

Спортивная семья

— Ты как, Ваня? — останавливаюсь, тяжело дышу, опервшись грудью на палки. Дополнительная опора не помешает. Ибо одно — идти по лыжне, а совсем другое — по лесу. Но в теле приятное предчувствие усталости. Ее пока нет, но в мышцах слегка зудит.

Подкатывает Ваня, одолев очередную пологую горку и тоже останавливается. Вроде как поговорить со мной. На самом деле для такой же передышки. Краткой, но полезной. А где же Аня? Вот и она. Лихо скатывается.

Семейный спортивный забег можно продолжать.

— Готовы? — Поправляю рюкзак на спине. Оборудование, будь оно неладно. — Ну-ка, Ваня, поворотись, — проверяю его рюкзак. Аня щурится. Но ей я ничего не говорю. Берегу самолюбие.

— Папа, мама, я — спортивная семья, — говорит Ваня.

Ага, рабочая легенда именно такая. Спортивная семья пошла кататься в тайгу, сойдя с поезда здоровья, и заплутала. Плутала она, плутала, пока не наткнулась на избушку. Вот только с возрастом неувязочки.

— Брат, его жена и я — спортивная семья, — поправляю Ваню, и на Аню смотрю. Она улыбается.

Продолжаем пробежку. Все должно быть естественно, поэтому до цели предстоит пройти еще много, чтобы изнемочь и более натурально проситься на ночлег. Даже тех двух лесорубов, что попались в лесу, постарались обогнать по максимальной дуге. Впрочем, и они на встречу не напрашивались.

Лыжи тонут в рыхлом снегу. Палки цепляются за припорошенные кусты. Не столько скользишь, сколько идешь. Даже хочется снять лыжи. Но будет хуже. Мне труднее всего. Но я

и самый сильный и самый подготовленный. Коренной сибиряк. Мы лыжи даже летом не снимаем.

Труднее всего Анюте. Часто останавливается, хватается за бок, морщится... Городская жительница. Лично я был против. И чертовски рад. Поэтому возражал, но не настаивал. А ведь нам еще предстоит нелегкое дело – ночевка в лесу. Для укрепления легенды, так сказать. Мы должны прийти к месту назначения изможденными, обмороженными, алкающими, как сказал товарищ майор. Что такое – алкающими? У нас и спиртного нет. Помогает ли спиртное от адской боли в затылке? Спросить бы Аню, но стыдно. Учиться тебе надо, скажет. Поступить в вечерний институт. Военных переводчиков, например. А что? Хорошая специальность. Не все в тайге куковать. Может, на границу пошлют. Во Францию. Там снега нет. И тайги нет. Зато море. Валера-кореш после курсов туда попал. Пишет, что не жалеет. Почти заграница.

Подбадриваю пересказом статейки из «Техника – молодежи» про опыты академика Козырева, мол, время – это материя, а материя – это время. А если и то, и другое относительно, как утверждал Эйнштейн, то пройти тайгу – плевое дело... Вот служба закончится, отправлюсь в Академгородок к этому академику машину времени строить, очень меня данный вопрос занимает! Хочу увидеть будущее. Коммунизм. Детей своих, внуков... В прошлое попасть. Это каких делов можно сделать, если, например, Гитлера еще до войны убить... Или революцию раньше устроить?! Анюту возьму... Особенно после того, что сказала... Скоро все поймут...

И тут вижу медведя.

Резко останавливаюсь. Поднимаю руку. Скрип снега затихает.

Тишина и шатун. Не к добру он нам попался. Потому как если кинется, придется стрелять. И поворачивать оглобли. Из-за похеренной легенды, простите мой иностранный.

Медведь смотрит на нас. Мы смотрим на медведя.

– Он уйдет? – Аня шепчет.

– Может быть, – шепчет в ответ Ваня.

Рука отпускает палку и ныряет запазуху. Пальцы сжимают рукоятку. Я его не боюсь. Я боюсь провалить операцию. Первое задание. Ответственное. Меня не пугает взгляд голодного зверя. Меня пугает то, как посмотрит на меня товарищ майор. Если вернемся ни с чем.

Медведь опускает голову к снегу и идет. Тяжело. Проваливаясь. Идет к нам и не к нам. Параллельным курсом. А ведь параллельные прямые не пересекаются? Помню из школы.

И когда он приближается, поворачивает башку и внимательно нас рассматривает. Мне даже кажется, что пересчитывает и запоминает.

Снайпер

Хулиганов ставят в угол. Где перед ними только стенка. Предполагаю, ибо в угол никогда не ставили, но кажется, будто неизвестные проказники испытывают то самое – стискивающие плоскости. Стылые и синие. Смотреть не на что, только на трещины в краске. И задыхаешься. Воздуха не хватает. Хочется дышать глубже, но вздоха не получается. Хочется вырваться, но сила наказания не позволяет даже на полшага отступить из угла. Голова склоняется. Макушка касается стены. Слезы из глаз.

И здесь разница.

У хулигана – надежда на мягкое сердечие наказующего.

Тот, кто занимает тело, мягкое сердечие не имеет.

С таким же успехом можно жалеть раскаленный от долгой стрельбы автомат.

Тело сейчас – автомат.

Тело топает вниз по еле заметной на снегу тропке. Морщась от слез и усталости. То, что в нем квартировало, – в углу Ивана, который с Анной притаились за поваленным стволом сосны. Такое не описать. Может, еще и поэтому слезы?

На полути нога проваливается в снег, сажусь и тяжело дышу. Растираю щеки. Над головой тянутся провода ЛЭП, тихо гудят. А дальше взгляду открывается поток, не скованный зимой, и через него две жердочки – гибельный мосток.

Анна собирает машинку. Умело складывает части. Крепит прицел. Не знаю о чем она думает, но догадываюсь – ей неловко. Да чего там! Ей жутко. Ей не понять сути смешанного состояния личностей. Никто этого не понимает. Но ее жалко. Она должна успокоиться.

– Все будет хорошо, – старательно двигаю чужими губами.

– Что? – Анна отрывается от дела и смотрит на милого. Он ведь ей мил?

– Не бойся.

Злится. Именно потому, что боится. Дергает затвор, вгоняя пулю в ствол.

– Заткнись. Очень прошу.

Где? Вот в чем загвоздка. Там или тут? Или еще где-то? На этот вопрос никто не смог ответить. Потому как никто над ним не задумывался.

Перемахиваю ручей по шатким жердочкам. Шагаю по тропе. Боковым зрением примечаю странное – под буреломом железную коробку с полустершимся костяком и молнией, трансформаторную будку, которой здесь не место… ладно, разберемся… Приземистая избушка, погребенная до крыши снегом, ближе и ближе. Назовите это чутьем, назовите предчувствием, идти туда не хочется. Но как в кошмаре – ноги сами несут к страху. Или как в жуткой сказке. Избушка обитаема – дымец над трубой. Бьется в тесной печурке огонь… яркие желтые пятна кропят снег вокруг. Запах живого разбавляет свежесть леса.

Но это ничего не значит. Сон не требует достоверности, кроме одной: спящий не должен понимать, что спит. Во сне может происходить любая чертовщина, но из него не выскочить, решив проснуться. Как не изменить реальность, предположив, будто грезишь.

Поэтому лучше смотреть на Аню со снайперской винтовкой, обмотанной белыми тряпками. Она осторожно прихлопывает снег, ложится удобнее, щурится в прицел. И чертовски хочется поцеловать ее щершавую щеку, на которой бледнеют пятна веснушек. Остаточные желания остаточной жизни. Позволит? Она много чего позволяла, но теперь? Всего-то и нужно: оценить опасность и ликвидировать ее. Так звучит приказ.

Но где уверенность, что он выполним?

* * *

– Я не смогу это сделать, – сказала она тогда.

А я сказал, что койка ужасно скрипучая и в следующий раз нас обязательно застукают. Будто это какая-то тайна, улыбается она сквозь слезы. Секрет Полишинеля. Нася знает. А что знает Нася, то знают все. Хочу спросить – кто такой Полишинель, но вместо этого:

– Сможешь, – говорю как можно строже. Настолько, насколько это можно сказать голой девушки, которая бродит по комнате и собирает раскиданные в попыхах вещи. – Представь – это всего лишь мишень.

– Мишень не ходит и не дышит. У нее пар изо рта не идет, – говорит Анна. – К тому же я беременна, если для тебя это имеет значение.

И я понимаю – дело плохо. По всем правилам необходимо подать рапорт непосредственному начальству: стрелок группы физически и психологически не готов к выполнению задания. Но я знаю, что никакой рапорт подавать не буду. А буду смотреть, как она натягивает чулки. И смотреть на ее живот, в котором растет наш ребенок… даже странно об этом думать –

наш ребенок... Тянусь к сигаретам и роняю на пол книгу со знакомой картинкой на обложке – белый сфинкс на постаменте расправил крылья.

– Как назовем? – спрашиваю деловито, будто все мной решено. – Предлагаю Аньотой, если девочка, Ваней – если мальчик... в честь нас самих. Иван или Анна...

Она опускается на пол, прижимает к лицу чулки, острые плечики вздрагивают.

В зачитанном томике чертова уйма закладок...

Девочка и медведь

Мне нравилась сказка про трех медведей. В их дом пробирается заблудшая девчонка, ходит из комнаты в комнату, ест оставленный на столе суп, валяется на кроватях, опрокидывает стулья, а в конце концов засыпает на кроватке Мишутки, самого маленького медведя. И когда вся семья Топтыгиных возвращается с прогулки в лесу, они застают дома полный чemberлен. Медведи ходят из комнаты в комнату и занимаются глупыми вещами: спрашивают друг друга – кто съел их суп, кто опрокинул их стулья, кто нагадил в их горшки, кто разорил все постели? Пока не натыкаются на Машу, не сняв грязные лапти беззаботно дрыхнущую в кроватке Мишутки. Сказка кончается благополучно – медведи раздирают девчонку на части и сжирают, наводят дома порядок, варят из оставшихся костей похлебку и продолжают жить-поживать, не забывая навешивать на дверь замок, когда отправляются в лес.

Я слышал эту сказку много раз, но никогда не думал, что она обернется правдой. И в один прекрасный день постучится девчонка, которая заблудилась в лесу, и примется ходянивать в избушке как ей вздумается. А за деревьями затаится еще пара людей, на тот случай, если навести в доме беспорядок Маше не удастся. Я их заметил раньше, и сразу почувствовал, куда они идут. Рано или поздно такое должно было случиться. Он всегда говорил: в покое нас не оставят. Даже в лесу. Шальные охотники не в счет. Это даже полезно и сытно. Но троица пахла настоящей подделкой. Как он в самом конце. Вроде и наружность человечья, а – подделка.

Одно оказалось мне незнакомым.

Запах.

Запах девочки.

Он будил не голод, не злость, а совсем-совсем другое, мне неведомое. Девочка стояла за дверью, а я сквозь щели вдыхал пропитанный ею холодный воздух. Так пахнет похлебка, которую он учил меня варить и хлебать, от нее рот наполняется слюной и хочется зарычать, но не грозно, а мягко, почти ласково. И там, в животе, растекается тепло и зудит. Даже пугать не хочется. Тем более она уже испугана.

Тук-тук, кто в домике живет?

Так должно было случиться. Он предупреждал. И учил, что делать.

Растерзать и уходить. Дальше в тайгу. Туда, на Ямбуй. Что это такое, он так и не рассказал. Ягоды слаще. Речушки и озерца полны рыбцы. Птицы сами летят в пасть. Лето жаркое, зима холодная. Воздух свеж. И никаких людей. Ни настоящих, ни поддельных.

Он об этом толковал даже когда мы подыхали от голода, сам не понимая, что за мука слушать рассказы про несуществующий Ямбуй. Будь он, давно бы туда ушли. Но он говорил: завтра. Или через три дня. Вот наделаем солонины, заготовим морошки, разорим улей. Дела всегда находились, особенно летом.

Потом случилось то, что случилось, и путь на Ямбуй навсегда закрылся. Но часть правды в его словах была.

Они все же пришли.

Поддеваю когтем запор и отступаю вглубь дома.

Входи, Маша, твой медведь ждет тебя.

Но для начала поиграем. Ведь твой запах так сладок, что я не могу отказаться.

— Как хорошо, я вас нашла! Мы заблудились с братом и его женой! Они там, на опушке. Сил нет идти. А тут видим — сторожка. Можно присесть? Ноги закоченели...

Транс-Персональный Движитель

ТПД «Космос» — как «Дюшес» по сравнению с плодово-ягодным. Вкус похож, пузырьки, а шибает не так. Чего-то не хватает в этой шипучке. Опьянения. Или растворения. Анестезии. А может, припой не так лег на резонаторе. Схалтурил член бригады коммунистического труда завода «ВЭФ». Чересчур торопился план дать, побежать с друзьями после работы пить кофе с рижским бальзамом, как говорит товарищ Дятлов. Или усталость такое действие оказывает. Общая нервозность. Беспокойство. Атмосферное давление. Резонатор сбился. Слишком холодно. Или, может, жалость к неведомому человеку, чья смерть в стволе снайперской винтовки да на кончике пальца городской жительницы Анны. Почти как у Кощя Бессмертного.

Одолжив тело, по голове не плачут. Почему никто не задумывался: где то, когда его нет там, где оно должно быть? Неопределенность, которая и Нильсу Бору не по зубам. Приходят странные идеи. Например, кое-что знаю про Анну. Грозную снайпершу. Которая вовсе и не грозная. А очень даже стеснительная. Особенно в постели.

— Аня, — шепчу, — Анюта.

Дергает плечиком. Косится.

— Ваня сделает все, как надо, — говорю. — Стрелять не придется.

— Как скажете, командир, — покрасневшая от холода щека продолжает упираться в забинтованный приклад.

Вряд ли ей известны тонкости работы с ТПД. И с единственным человеком, управляемым на расстоянии. Для нее это абракадабра. Абстракция. Еще одна страшная сказка, какие по вечерам девчата рассказывают друг другу в казарме. Что о ней известно? Только то, что знает командир. А знает чертовски мало, потому как испортить девку — одно, а познать женщину — совсем другое.

Хватаю ее за воротник и притягишаю. Она безвольна, как кукла. Нахожу губы и впиваюсь в них. Холодные, шершавые, потрескавшиеся. Спекшиеся и безответные. Прощальный поцелуй. Подарок. Потому что столкнулись совсем не с тем, на что натаскивал Дятлов. Впрочем, он и не скрывал — действовать по обстоятельствам. Причем, опережая обстоятельства хотя бы на шаг. На полшага.

Где потерялись эти полшага? Где споткнулись? Где завязли?

Нащупываю пистолет, приставляю к боку Анны и давлю курок. Пуля должна иглой пропустить живот. Утробу. Почему-то это кажется важным... очень важным... Еще. И еще. Сухой треск, будто ветки ломаются в бору, там, за поворотом... Вздрагивает, зрачки расширяются в немом вопросе. Изо рта кровь. Отпускаю, и теперь уже просто тело валится на вытоптаный пятак перед упавшим стволов. Живое обращается в мертвое. И нет на белом свете ни живой воды, ни мертвой. А есть только рука, которая подносит резко пахнущий порохом ствол ко рту, и воля, которая заставляет прикусить железо покрепче и резко нажать спусковой крючок.

Вышибать мозги — занятие малоприятное.

Медведь

А что же в домике? Тук-тук.

Притворяюсь им. Таким, каким он стал. Седым. Морщинистым. Согбенным. Жизнь на природе, вдыхание свежего воздуха полной грудью. А еще — лютый мороз. Голод. Мошка. Одиночество. Не со мной же говорить?

Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Зачем?!

Книжечки у нас на почетном месте. Потому как культура. Свобода от общества и культуры – вот путь к освобождению от цепей предназначения. Все дороги хороши, выбирай на вкус.

– Заходи, девочка, заходи, – шамкая, шаркаю, трясу рукой с обгрызенными когтями. Надеюсь, именно так должен выглядеть одичавший отшельник.

– Как узнали? – спрашивает Маша. – Что я девочка?

– Прости слепеньского, – завожу обычную песенку. – Прости старенького. Вижу плохо, соображаю плохо… что с бедного взять? Проходи миленький, проходи…

Переступает через порог и оказывается в моей полной власти. Гр-гр.

– Скидывай лапти, расстегивай кожушок, протягивай лапки к очажку. Грейся, миленький, грейся.

И самому себе кажусь Бабой Ягой, потерявшей лопату, на которую должна посадить незваного гостя и запихнуть в печку. Вот незадача – ни лопаты, ни печки. И вообще, мы сторонники сыроедения. В животе предательски урчит, но Маша ничего не подмечает, присаживается на корточки у очажка, протягивает лапки к огнецу. Тоненькие такие лапки. Вкусненькие, аж слюнки текут.

– Может за товарищами твоими сходить? – спрашиваю, потому как лучше начать с них. А ее оставить. Для чего оставить – не говорю и самому себе.

– Они мне не товарищи, – отвечает Маша. – И лучше вам не выходить. Пока.

Эвон.

– Это ж почему, деточка? Морозец старым косточкам полезен, ой, полезен. Схожу все же, схожу. Где мои валенцы, где мои теплые? – Кряхтя вожусь в рухляди, оставшейся после него, после таких вот туристов, охотников и прочих заблудших. Тайга – закон, а медведь – верховный заседатель, как любил он говорить.

– Прошу, не выходите, – отрывается от тепла и передо мной встает. Да так близко, запах окатывает с головой. Куда там медведицам! Звери. Одно слово – звери. – Я сам… то есть, сама разберусь.

Разберется она, хихикаю в кожушок. Приходили тут всякие, разбирались. С ними сказ был прост. Он и не возражал. Одобрял. Только раз остановил, когда заявился некто. Но тот даже внутрь не вошел, снаружи ожидал, когда он выйдет. Там и говорили, а мне оставалось в щелку смотреть. Да лапу сосать. А когда вернулся, долго щетину чесал. Ходил из угла в угол. Дымил самокруткой, от которой чихать хотелось, да в лес убежать.

– Ты, девонька, грейся, – говорю, – кожушок скидывай, вон шкурку на плечики надвинь для теплоты. Чаец поставь, вот в котелке бултыхается. Чебрец добавь, еще какой травцы, а я все ж пройдусь, заодно дровец притараню.

Смотрю одним глазом, как девица кожушок стягивает. Даже выходить расхотелось, но больше не могу в теле старческом оставаться, колотить начинает, во всех местах зудеть. Вываливаюсь наружу, глотаю пастью холод, отряхиваюсь, сбрасываю наваждение, для лихости по глубокому сугробу прокатываюсь, еле сдерживаюсь, не зареветь, и кидаюсь в распадок, всеми лапами снег бью.

Знаю их жужжалки. Ученый. Сколько раз несмышенышем нарывался, пока он не научил охотиться, а не бросаться на первого встречного. Один раз так порвало, еле до дома дотащился, на пороге упал, кровью истекая. С тех пор ученый. Мохнатый бок не подставляю.

Что такое любовь

Продолжаю греть руки и думать: что такое любовь? Не могу сформулировать, но точно знаю – похоже на свойства, коими обладаю. Разве это не полная самоотдача? Не полное саморастворение? Взаимопроникновение до донышка, так, что частичка другого остается внутри,

живя собственной жизнью. И предстоит решить – чего же он хотел, посылая сюда? Чтобы так и продолжала сидеть, ожидая возвращения чудища, которое убедилось – опасности больше нет, Маша в полной его власти, и не понимая, как любой зверь, только так и устанавливается над ними власть – обманом и сахарком.

Даже то, что пришлось сделать с остальными, всего лишь акт милосердия. Уж лучше, чем он. Не так болезненно и не столь ужасно. Хотя представлять последующее – отвратительно. Но зверя необходимо накормить. До отвала, прежде чем накидывать узду.

Пламя обжигает кончики пальцев, отдергиваю руку. Встаю, осматриваюсь внимательнее. Берлога. Логово. Жилище. На полке среди закопченной утвари синеет истрепанный томик Уэллса под номером один. Второй подошел бы лучше?

Сколько он здесь? И что случилось, если бы он оставался одним? На самом деле ничего не важно. Всего лишь оттягишаю момент, когда дверь распахнется, и в избушку ввалится он – сыйный, распаленный.

Он ведь все будет рвать. Он не знает, что такое пуговицы, застежки, трусики и прочие штучки. Он даже не осведомлен, на что надеюсь, как точно выглядит человеческая самка. Поэтому все надо приготовить. И чертов ТПД здесь не помощник. Крепись. То ли было, то ли еще будет. Вдруг понравится? Лукавая мысль, от которой дрожь.

Раздеваюсь и прислушиваюсь. Заскрипит снег. Заревет зверь. Стукнет дверь. Как там в сказке «Морозко»? Вот только Аленушкой не самочувствую. Самое трудное – пистолет. Пальцы не хотят разжиматься. Ой, как страшно. Что делаю?! Служу Советскому Союзу или Дятлову? Еще нервная дрожь. Нехорошо, когда в постели бьет нервная дрожь. Может, это обычное состояние в постели? Особенno, если постель такая – вонючие шкуры и солома под ними? И пистолет. Черт возьми, почему не соображу: куда девать пистолет?

Успокаиваюсь. Тру предплечья. Переступаю с ноги на ногу. На цыпочках подхожу к полке с посудой и засовываю железку между сковородок. Не обманываюсь надеждой, что если пойдет не так, то смогу допрыгнуть. Не смогу. Испуганное воображение подсказывает, что сделает зверь. Когда заживо жрут внутренности, это больно? Безразлично?

И вот все готово. Гольшом под шкурами жду чудища. Вспоминаю «Аленький цветочек», «Морозко» и даже «Белоснежку и семь гномов». Начинаю смеяться. Опыт этих героинь не пригодится. И не потому, что в сказках данный моментстыдливо опущен, а ведь наверняка были, случались. Особенno забавно представить диснеевскую Белоснежку с мультипликационными гномами. А что? Гномы – интересно. Вот у Пушкина – витязи прекрасные. И благородные – все семеро на царевну не претендовали, предоставили девушке выбирать – с кем первым.

Додумать и досмеяться не успеваю. Дверь распахивается, запах свежей крови волной врывается в избушку.

Зверь идет.

Скрипят пуговицы.

Могучее дыхание.

Ощущение чего-то огромного, заполнившего избу.

Хочу зажмуриться, но приказываю смотреть. Этот страх должно выпить до дна и с широко открытыми глазами.

– Как тебя зовут? – спрашиваю потом, сдерживая слезы. Боль стихала. Почему-то кажется, что он скажет «Пятница». А кто еще может жить с Робинзоном на необитаемом таежном острове?

Но он ответил:

– Медведь.

Обыкновенное чудо.

Робинзон

Медведь плохо помнил, где они жили до того, как поселились в тайге. Робинзон рассказывал, но это казалось юному Медведю страшной сказкой о каких-то городах, где избы стоят друг на друге, земля покрыта мертвой коркой, а ягод и грибов нигде нет и приходится делать непонятные вещи, чтобы набить брюхо. Тогда он еще не питался мясцом, а обожал малинники, в изобилии раскиданные по лесу. Потом Робинзон рассказывать перестал, и вообще стал очень мало говорить с Медведем. Зато продолжал ходить за ним по пятам, словно не понимая, что тот его все равно чует, как бы он не прятался. Да и не умел он прятаться. И ходить бесшумно не умел. И охотился из рук вон плохо. И в грибах не разбирался, принося в избу такую отраву, что если бы не Медведь, то помер бы. И ягоды собирать ленился. А в первую зимовку простудился так, что Медведю пришлось самому разводить огонь в очажке и кипятить чай с малиной, отчаянно чихая от дыма.

Робинзон все толковал об эксперименте. И даже что-то писал на бумаге, пока однажды бумагу не пришлось пусть на розжиг в одну дождливую осень. Если тайга крепила Медведя, делала сильнее, ловчее, злее, то Робинзон линял, точно больная лисица. Линял зимой, линял летом, линял весной и осенью, превращаясь в малозаметное выцветшее существо. Однажды он попытался дойти до города, ему понадобилось с кем-то встретиться. Он строго-настрого запретил Медведю следовать за ним, но тот, конечно же, пошел и правильно сделал. Робинзон долго кружил вокруг избушки, потеряв направление, часто останавливался, дышал со страшным скрипом, бормотал, плевался, махал руками, а когда Медведь вышел из чащобы, то он не удивился и принял рассказывать как сходил в город, и что его до сих пор помнят и ценят.

Его воспоминания напоминали лес – запутанный, заваленный буреломом, с проплешиями ягодных полян и мрачными озерами, без дна и цвета, что таились в чащобе, куда не доносилось ни ветерка, не проникало солнце. Они изливались густо, страстно, слишком быстро, порциями, как у зверя, что стремится быстрее исполнить долг перед зовом природы и передать в вечность свой наследственный материал. Нисколько не заботясь о последствиях, потому как зверь живет только настоящим. И если с мохнатой самкой он бы ограничился зовом природы, то с безволосой, что лежала рядом, он ощущал потребность в чем-то еще, быть может человеческом. Такого он еще не испытывал. Все оказалось по-другому. О людях он никогда не думал как о том, к чему и сам принадлежит, ни с восторгом, ни с презрением или, тем более, со злобой. Они существовали вне его мира, а когда ненароком сюда забредали, он делал все, чтобы это исправить.

Но то, что теперь принадлежало ему, должно остаться с ним навсегда. Они ничего особенного не умели. Кроме как насыщаться друг другом. Так утенок, вылупившийся из яйца, принимает птичницу за маму-утку и следует за ней по пятам, отказываясь признавать ошибку, навсегда пойманый в сети импринтинга. Так и он, впервые испытав человеческое, хоть и в столь грубо-физиологической форме, готов следовать за Машей, как следовал бы за ней медвеженок-несмыщеныш из сказки, который обнаружил в своей разобранной постели спящую девочку, и вместо того, чтобы загрызть ее, вдруг решил разделить ложе с тощим, безволосым и беззащитным телом, не понимая причин, которые толкнули на столь вопиющее межвидовое скрещивание.

Медведя поймали в сети. Вечная история о том, как ловец оказывается в собственной ловушке.

Визит мертвеца

В дверь избушки стучали. Медведь недовольно заворачался, истомленный. Тоже не хотелось вылезать на холод. Мохнатый бок как печка. Пыщущая жаром печка. На печках лежали, вспомнилось. Но лежала ли на ком-то печка? Вот глупость. А почему? Потому что внутри троится. ТПД посыпает сигналы. В теле – свежий биологический материал. И еще за дверью тот, кто должен стать проводником из передряги. Мысль тоже стучит, как ткацкие станки ударницы социалистического соревнования.

Осторожно выбираюсь из-под шкуры, опускаю ноги на ледяной пол. Печь растоплена, значит тепло где-то есть, но его пока не нахожу. Иду на ломких ногах, ощущая каждую царину на теле, каждый синяк, укус. Хочется пустить слезу от сотворенного насилия, но креплюсь. Проверка на излом, как говорил Дятлов. Вот что важно – проверка на излом.

– Куда? – ворчит Медведь. Даже глаз не открыл. То ли чересчур доверяет, то ли уверен – голышом не убегу.

– До ветру.

– Замерзнешь, – зевает. – Там ведрецо около двери. Попробуй в него...

И вновь храп. Разве звери храпят? Разве не опасно в лесу храпеть? Или... или это доказательство, что рядом не зверь?

Останавливаюсь, хотя уже держусь за веревочную ручку двери. Потяни за нее, и обратного пути не будет. Только вперед. Вот оно – редкое мгновение свободы не как осознанной необходимости, а как необходимости неосознанной, когда живешь иллюзией, будто можешь пойти направо, можешь пойти налево, а можешь и прямо пойти, если не боишься потерять коня, друга, жизнь.

И тут пронаает.

Тот самый момент слияния.

Падаю, больно бьюсь коленками.

Кортикальная реакция.

Убивающая свободу. Прижимаю руку к животу. Ой, как быстро. Ой, как страшно. Вот чего боишься больше всего и тщательно скрываешь. А он – молодец. Сделал дело и продолжает храпеть, самец. Не понимая, что своей несдержанной физиологией потянул такую длинную ниточку, что и не угадаешь каков у нее будет конец.

Или... все же не он? Остаточное воспоминание той, что лежит с простреленной утробой? Но... откуда взялись ее воспоминания?! Нет... не может быть...

Вижу изгрызенные кости, вроде бы человеческие, небрежно задвинутые в угол. Тот, кого звали Робинзон? Какая разница...

Хватит мерзнуть. Теперь мерзнуть нельзя. Поднимаюсь с пола и отворяю дверь.

И начинаю кричать. Вернее, кажется, что кричать. Пока зубы не впиваются в костяшки пальцев так, что боль облегчает страх. Пуля аккуратно вошла в рот, но очень неаккуратно вышла, оставив вместо затылка зияющую дыру. Только в романах можно красиво застрелиться. На деле все выглядит менее эстетично. Такова жизнь, деточка. Или смерть.

<Человек жив | человек мертв>. Как по-умному – эффект Шредингера?

Тело сжимает пистолет, отодвигает в сторону, шагает внутрь избушки. Ноги не держат, падаю, опрокинув заодно и ведро с нечистотами. Ворочаясь в луже, потому что управлять мертвым не так просто, как живым. Но нужно убедиться в самой малости. Проверить зверя на излом.

Это даже хорошо, что он такой. Страшный. Людоед. Минус на минус – плюс. И вот мертвый командир спецгруппы чистильщиков, залитый кровью и мозгами ступает туда, где спит Медведь, счастливо решивший задачку традиционного воспроизведения, чтобы задать

ему задачку посложнее. Олимпиадную задачку, как говорит товарищ Дятлов. И пусть попробует не решить. Должен. Обязан. Слабаков не любят. Думаю, как самка. Поступаю как сука.

В темноте избы что-то происходит. Борьба двух начал. Мертвого и живого. Зверя, которому предстоит стать человеком, и человека, который должен помочь зверю в столь нелегком деле.

Отодвигаюсь подальше, вжимаюсь в груду затхлых валенок, тулупов, телогреек. Сдергиваю одну из телогреек и использую по назначению – тело грею. Вслушиваюсь в единство и борьбу противоположностей. Единство им обеспечу, а в борьбе должен победить Медведь. Потому как надежда только на него.

Выстрелы глохнут в реве зверя. Рев зверя глохнет в выстрелах.

Что хочется мне? Хочется благодарности товарища Дятлова за безупречно выполненное задание. Перед строем. Хотя, вполне достаточно и в кабинете. С пожиманием руки и троекратным лобызанием. Не это ли доказательство человеческой, а не патронажной, сущности?

Поезд здоровья

Я чую, она пахнет беспокойством. И еще чем-то, почти неуловимым. Но что заставляет шире расправлять плечи и заслонять ее от толпы. Это так называется – толпа. Люди в спортивных костюмах, с лыжами, рюкзаками, галдят, смеются, дышат. Их слишком много. Посреди площади – фигура лыжника. Не настоящая. Гипсовая. Она погребена под грудой вещей веселых и молодых. Маленькое здание вокзала тоже переполнено веселыми и молодыми. Тренькают струны. Плотные кружки вокруг гитаристов. Звонкие девичьи голоса и суровые юношеские баски поют хором.

Не будь я тем, чем стал, убежал обратно в лес. Даже без нее, моей самки. Я до сих пор про себя ее так называю, как Медведь. Самка. Моя. Но зверь упрятан глубоко внутри. Усмирен и скован. Поэтому говорю:

– Все будет хорошо.

Она кивает. Бледная до зелени. И морозец не помогает расцветить щеки розовым. Мне ее жалко. Такая хрупкая. Только теперь, в сравнении с окружающими молодыми телами – тугими, пышными, пышущими – понимаешь насколько она маленькая.

Чешется затылок. Он постоянно чешется. Остаточное ощущение другого, в чью шкуру пришлось облачиться. Перевоплотиться в служителя Спецкомитета, в столицу которого направляемся. Старик рассказывал эту страшную сказку. Как от всякой сказки, услышанной в далеком детстве, от нее осталось только ощущение. Страха, конечно же. Думал ли, что придется стать ее персонажем, или даже героем?

– Эй, ребята, давайте к нам!

– Парочка, хватит мерзнуть, у нас теплее!

– Намилуитесь в общежитии!

Не сразу понимаю, что это нам. Со всех сторон. Веселые, звонкие лица и голоса. Темные и светлые кудряшки, красные губы, блестящие глаза. Девчата зазывают в круги. Наверное, им жалко нас. Отстраненных от общей усталой веселости после прогулки по лесу.

Хочу крикнуть в ответ: спасибо, мы и здесь постоим, но она берет за руку и тянет к людям. Рано или поздно это все равно придется сделать. Лучше рано.

*Надоело говорить, и спорить,
И любить усталые глаза,
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса.*

Я не знаю этой песни. Я вообще не умею петь. Но всё оказывается просто. Совсем просто. Нужно только шире улыбаться. И громче подпевать. Слова не так важны. Они приходят за мгновение до того, как их нужно пропеть, будто кто-то подсказывает.

Толкают в бок. Веселый парень.

– Твоя? – Подмигивает. Кивает на неё.

– Моя, – улыбаюсь, смеюсь. – Моя, любимка, – прижимаю, целую в щеку.

– Держи крепче, – советуют. – А то убежит.

– Не убежит! – Но она вдруг выскользывает и несется куда-то по площади, растворяясь в толпе.

– Чего стоишь?! Догоняй! – кричат мне, и я бегу за ней. По запаху. Могу поймать даже с закрытыми глазами. Но она хочет поиграть в прятки, и я поддаюсь. Делаю вид что теряю, хватаю незнакомых девушки за плечи и заглядываю им в лица. Курносые. Красногубые. Разноцветноглазые и разноцветноволосые.

– Невесту потерял? Выбери меня! – хохочет златовласка.

– Нет, меня! – заливается темноволосая.

Сколько их! Как деревьев в лесу. Но мне нужна только она. Единственная.

Чуть не врезаюсь в парочку с ребенком, знакомый запах, бормочу извинения, бегу дальше.

– Осторожнее, медведь! – весело кричат во след.

Устаю. Не физически. Чересчур много лиц. Смеха. Людей. И запах ведет прочь. В узкий проход между дощатыми заборами. Глубже в чащу домов, из которых пахнет затхостью вещей. Я не различаю, где и куда бегу. Главное – нагнать, схватить, а когда это случается, я вдруг теряюсь. Не хочется быть зверем. Мне понравилось быть человеком, которого дружески толкают в бок, которому улыбаются.

– Ну, что же ты? – Она держит меня за воротник куртки, требовательно смотрит. – У нас совсем нет времени. Скоро поезд здоровья...

Что такое стыд? Это не мое чувство. Оно чужеродно, как заноза. Хорошо, что оно полностью в голове, в щеках, в глазах. Глаза можно закрыть, они лишние. Все наощупь. Туда, откуда исходит влажное тепло. Под куртку, под тугие резинки, навстречу голому телу. Ее пальцы в ответ шарят по мне. Ее глаза открыты? Не решаюсь взглянуть, потому что... потому что это становится неважно.

– Давай вот так, – шепчет в ухо и резко поворачивается ко мне спиной, согнувшись, ждет.

Я сдерживаю рычание. Передо мной десятки смеющихся глаз. Нет, я вовсе не хочу их. Мне нужна только одна. Одна Маша, которая забрела в избушку к Медведю, а потом повела с собой, как на привязи. Мы соединены чем-то более крепким. Новое тело есть новое тело. Оно размеренно качается и не рычит. Форма определяет содержание, говорил он. Он. Кто он? Тот старик, что жил со мной, пока в одну голодную зиму не исчез. Куда исчез? Никогда не задумывался и не искал. Он был словно поваленное дерево – принадлежность окружающего леса. Не страшное и бесполезное. Разве только когти почесать о трухлявый ствол.

– Быстрее, – просит она. – Могут увидеть, – и хихикает.

А потом я не знаю что делать. Смотреть как она поправляет все на себе? Чего в таких случаях ждут самки? Не решаюсь спросить. Поддаюсь наитию. Вытягиваю губы трубочкой и тянусь к ее гладкой щеке. Она ускользает. Хлопает ладонью по губам и строго говорит:

– Ты – медведь.

Берет меня за лапу и тащит туда, где уже стоит поезд, куда залезают молодые и веселые, и мы залезаем, затолкнувшись в веселую кутерьму, отыскиваем местечко, которого хватает только мне, она садится на колени, обнимает за шею, и мы сливаемся с разговорами, песнями, умело изображая из себя людей.

Иван

Он меня тискает. Насколько позволительно в тесноте общего вагона поезда здоровья, следующего по маршруту от станции Зима до Братска. Позволительно много, так как теснота неимоверная. Кажется, все сидят друг на друге. За исключением тех, кто друг на друге лежит. На вторых и третьих полках. Но всех это только радует. Ни единой искры раздражения не высекается в добродушном и веселом столпотворении. Откуда-то извлекаются съестные припасы, чудом сбереженные во время похода, накрываются столики, появляются бутылки и стаканы, кружки и чайники с кипятком, что уж совсем невероятно – кто, когда, а главное – на чем их вскипятил?

Сижу смирно и млею. Полностью в ощущении тискающих рук. Чертовски нет опыта во всех этих делах. Если бы не остатки памяти Ивана, а также Анны. Спасибо, ребята. Вот еще неожиданный прок от вас – теперь знаю, как ведут себя влюбленные.

Холод уходит окончательно, а где-то внутри сильнее и сильнее разгорается пламя, прорастая на щеках румянцем. Смеюсь и пою громче других. Чтобы только не застонать. Хотя и стон никто в этом бедламе не услышит. Хочется спрятать лицо на его груди. От смущения. Но, к счастью, вокруг слишком заняты воспоминаниями, впечатлениями о прогулке. В руки суют кружку с горячим чаем, сдобренным чем-то алкогольным, хлеб с толстым ломтем докторской колбасы. Пытаются всучить еще и хрусткий соленый огурчик, но рук не хватает, быстро соображаю – открываю рот и стискиваю его зубами. Хохот сильнее.

– Так его, так!

– Кусай! Кусай!

И он получает свою долю. Ведь мы, по мнению остальных, молодожены. Поэтому не обзавелись еще хозяйством. О чем думают молодожены, выезжая на природу? Понятно, что не о докторской колбасе. Они сыты друг другом. И вообще – с милым рай и в сугробе. Поэтому над нами подтрунивают. И опекают.

– Вот, помнится, когда мы с Ванькой только поженились…

– Анята мне и говорит, что кроме яичницы ничего делать не умеет…

– Жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь…

– Дочку Иванкой назвали, сами-то из детдома, родителей не знаем, сложили свои имена…

Но затем коллективное внимание смещается, рассеивается, вновь предоставлены только себе. Жуем бутерброды.

Толчок.

– Поехали!

– Ура!

– Пора в путь-дорогу!

– До свидания, Зима, здравствуй, Братск!

– Ребята, а где расположена станция Лето?

– Ха-ха, в Крыму, известно где!

И тут что-то заставляет впиться в окно, мутное и заляпанное, каким только и может быть окно в общем вагоне поезда здоровья. Но это не мешает разглядеть того, кто пристально смотрит внутрь, в плацкарт.

Иван!

Живой?!

Но что-то в нем, в его взгляде не совместимо с жизнью. Не бывает такого взгляда у живых. Так должны смотреть мертвые. Только мертвые.

Наверное опять сон... не замечаешь как засыпаешь... в последнее время сняться только плохие сны... где Дятлов убивает ребенка, и ничем не могу, а главное – не хочу помешать... они сидят на земле, она прижимает завернутое в одеяло дитя, а он... вытаскивает огромный черный пистолет... выстрел... выстрел, как тот, которым его... ведь тебя...

Рука Ивана дергается, будто на нитках, поднимается, нехотя-нехотя, качается из стороны в сторону. Последний привет с того света. И становится зябко, охватывает дрожь. Колотит. А проклятая фигура словно прилипла к окну. Будто там, снаружи, к вагону приделана подставка, на которой и стоит мертвец. И будет так стоять весь путь от станции Зима до станции Братск. Стоять и смотреть. И махать рукой.

И когда уже готовлюсь соскочить с уютных коленей и броситься прочь, через ноги, через людей, через рюкзаки, лыжи, палки, к Ивану подходят двое, зажимают по бокам и уводят.

Их не успеваю толком рассмотреть.

Куда девается электричество, когда его выключают? Куда девается жизнь, когда ее отнимают?

Часть третья. Нася

Стать человеком

Ночью забываю как он выглядит на самом деле.

Тишина наполняется дыханием – тяжелым и мощным, словно он и во сне совершаet тяжелую, почти непосильную работу. В какой-то передаче какая-то женщина, ученый, интересно рассказывала о снах, о том, будто человеку необходимо спать, чтобы мозг обработал дневные впечатления, как ЭВМ, что стоит на ВЦ ОГАС Братска. Ряды огромных шкафов, столы с клавишами, связки проводов. Не личное воспоминание, конечно же, как могу оказаться там? Что там делать? Но привычный страх щелкает сердце – а вдруг? Вдруг по надобности Спецкомитета и товарища Дятлова лично?

Переворачиваюсь на боковик и подкладываю под щеку ладонь. Тусклый свет фонаря, разбавленный стеклом и занавеской, не дает рассмотреть подробности. На полу спит человек.

Человек ли?

Человек звучит слишком гордо.

Человеком еще нужно стать.

Кому нужно? Ему – нет.

Почему спасаю его? Почему предаю все и всех? Спецкомитет. Дятлова. Товарищей. Сослуживцев. Может, именно потому, что это – пустая оболочка, возомнившая будто существует только потому, что мыслит? Где оно? Что оно? И вообще – чьи это мысли или всего лишь остаточная память тех, кто побывал внутри за все это время? И нет никакой Иванны, а есть затоптанная грязными сапожищами, заплеванная, замусоренная пустая комната, в которую входит всяк, кому не лень, и хорошо, если просто входит, а не справляется в ней нужду, встав или присев в угол. И тогда Иванна – куча чужого дерья? Нет, невозможно! Невозможно так думать! Лучше сразу застрелиться. Или повеситься. Полоснуть по венам. Выброситься в окно. Спасти и привести домой Медведя… медведя… медведя…

В смешанном, спутанном состоянии – и друг, и враг, и живое, и мертвое…

Тону в дреме, погружаюсь на дно сна и оказываюсь там, где таятся самые отвратительные кошмары – в подземелье, в гулких, сводчатых, влажных помещениях, от которых даже во сне прошибает дрожь. И мочевой пузырь словно сдавливают в тисках. Умру, если не помочусь. Где угодно. Как угодно. Ишу подходящее местечко, но ни одно не устраивает. Не знаю почему, ведь рядом никого. Но не могу себя заставить сделать это здесь. И там. И тут.

Чувствую – обмочусь, но продолжаю брести сквозь жуткий лабиринт, выложенный бурьми кирпичами, по которым струится вода, собирается на бетонном полу в лужи, стягивается в ручейки и убегает в пробитые дыры. Из дыр тянет гнилью.

А потом вижу Ивана. Мертвого Ивана. Который распростерт на железном столе, голый и выпотрошенный. Над ним медленно вращаются огромные лопасти, словно нелепый, чудовищный вентилятор. Множество проводов змеится по бетонному полу, заляпанному зловонными лужами. Что-то щелкает и трещит в металлических шкафах с нарисованными черепами и скрещенными костями.

«Осторожно! Высокое напряжение!»

И оно действительно высокое. Воздух наэлектризован так, что волосы шевелятся. Пахнет грозой. Которая разразилась не в лесу, принеся с собой свежесть, а здесь, в затхлом подземелье, отчего дышать еще труднее.

Тело дергается. Пропустили электричество. Как по лапке лягушки. Сгибаются и вытягиваются вверх руки. Пальцы разжимаются, а затем сжимаются в кулаки, словно мертвец кому-то грозит.

Почему – кому-то?

Ноги упираются пятками в стол, выгибая спину. Иван демонстрирует акробатический номер. Мостик.

Затем расслабление. Исчезновение жизни. И новый разряд!

После которого тело шевелится более осмысленно. Возится. Перекатывается с боку на бок, выискивая положение, которое позволит встать. Подняться. Воскреснуть.

И плевать на внутренности. Электрической жизни ни к чему сердце, печень, кишки.

– Нравится?

Темную фигуру замечаю только когда слышу ее вопрос.

– Смерть – энтропия.

Обряженная в заляпанный сatinовый халат, в каких ходят кладовщики. С надвинутой на лицо маской сварщика, в темном окошечке которой переливается багровое.

– Электричество – новая жизнь, – продолжает глухим голосом. – Квантовый феномен, способный обращать вспять энтропию и течение времени. Что такое социализм? Советская власть плюс электрификация всей России. Так ведь говорил Владимир Ильич?

Меньше всего ожидаю урок политграмоты. А человек задирает маску сварщика, открывая лицо.

Не лицо.

Морду.

Свирепую морду медведя.

Допрос

Вопросы, допросы. Допросы, ответы. Операция «Медведь», будь она неладна. Потому и в пыточной сидим, раскладываем спички, курим папиросы «Дукат», привезенные на этот край света в кармане московского пиджака. Не моего. Хвата.

Бывают промежутки времени, которые и временем называть – польстить. Безвременье. Чем человек озабочен всю свою жизнь? Потратить время. С пользой, без пользы, но на сберкнижку его не положишь, облигации государственного займа не купишь, в лотерее не выиграешь. Имеешь – трать. Не имеешь – тоже трать, только еще быстрее. А чем заняться в безвременье? В безвременье заняться нечем. Вот для этого и придуманы папиросы.

Размять курку. Извлечь лишние табачины. Примять мундштук. Еще раз примять мундштук. Прикусить зубами. Чиркнуть спичкой. Поднести к курке. Вдохнуть первый дым.

– Ну, рассказывай, Ваня, где потерял Аню, – говорю. – Рассказывай, не таись. Все, как на духу.

– Товарищ майор, так ведь в какой раз можно? – Ваня тоскливо разглядывает пыточную. – Я подробно изложил в рапорте...

– Вот в этом? – поднимаю двумя пальцами, как выпотрошенную лягушку, писанину, покачиваю в воздухе.

Ваня подается чуть вперед, щурится:

– Так точно, товарищ майор, в этом.

– Что напишешь пером, то не вырубишь топором, – наставляю молодца и прикладываю папиросину к бумажке, пока она не занимается синим пламенем. – А вот про огонь ничего не сказано.

Ваня смотрит на пылающий рапорт и взгляд его мне не нравится. Нехороший взгляд. Без испуга. Без удивления.

Стряхиваю пепел на пол, растираю сапогом. Требую:
– Еще раз и по порядку.

Он начинает еще раз и по порядку. В содержание не вслушиваюсь, важнее интонация. Где-нибудь да выдаст, где-нибудь да проколется. Не может не проколоться. Если только... Но не успеваю додумать. Слышится и на товарища майора проруха. Мелькает нечто важное и исчезает, махнув хвостиком. Очень такое раздражает. Как ушедшая с крючка рыба. Потому и рыбалку не люблю.

– Согласно разработанному плану, мы с Анной расположились в засаде и изготовились к работе по объекту, Иванна направилась к избе...

Вот. Шпарит по писанному. Его ведь что беспокоило? Ваню беспокоил написанный рапорт, который командир будто бы на его глазах уничтожил. Дешевый трюк. Циркачество. Фокус-покус. И каждый раз ему приходилось излагать дело так, чтобы не слишком повторяться. Что поделать – чем чаще рассказываешь историю, тем меньше в ней правды и больше – украшательства. Атавизм, унаследованный от волосатых предков, которые сидели в пещере у костра и пересказывали друг другу как могучий Эх раздробил дубиной череп могучего Ах. Чем больше приврёшь, тем внимательнее будут слушать, а там и кость посочнее подкинут, и самка пожирнее под шкуру заберется. Но здесь-то что?

Не понимаю.

Пока не понимаю.

А потому обречен раз за разом переслушивать, перечитывать, переглядывать это вранье пополам с ахинеей.

Тем более, начальство интересуется. Гибель оперативника – ЧП. Требуется тщательное расследование. Которое, конечно, будем проводить не мы. Во избежание необъективности и семейственности.

И в это мгновение меня осеняет. Да так, что хлопаю ладонью по столу и приказываю:

– Замолчи.

Ваня замолкает на полуслове. Будто радио выключили.

– На сегодня достаточно, – говорю, – свободен до утра. Предстанешь перед комиссией, – не удерживаюсь: – По расстрелу. Поэтому советую высаться, побриться, поодеколониться и надеть чистое и гладкое. Кру-у-у-гом! Ша-а-агом ма-а-арш!

Банный день

Банный день – сущее мучение. Избежать нельзя, даже если в квартире имеются ванная комната и газовая колонка. После парково-хозяйственного дня все курсанты Спецкомитета, невзирая на пол и лица, отправляются в общественную баню. И вот вопрос: какое отделение выбрать? Мужское? Женское? Прогрессивные западные ученые утверждают: пол – понятие не только биологическое, врожденное, но и социальное. Основываясь на биологии, социальная среда навязывает мальчику и девочке роли мальчика и девочки. Мальчик должен дергать за косичку нравящуюся ему девочку, а девочка – лупить учебником по голове нравящегося ей мальчика. Девочки идут мыться в женское отделение бани. Мальчики идут мыться в мужское отделение бани. При том, что отделения друг от друга ничем не отличаются.

Все это замечательно, но есть нюансы. Например, воспытываемый товарища Дятлова.

Нет, вовсе не требую возведения третьего банного отделения для неопределившихся с половой и ролевой принадлежностью. Лишь прошу освободить от банного дня, поскольку вполне могу помыться и моюсь на оперативной квартире, что расположена на остановке «Сосна» Братска.

– Это приказ, – сухо ответил Дятлов и пошел к уазику сопровождения. Остается только поправить пилотку и забраться внутрь машины, где уже расселись курсанты.

Мест на лавочках нет, сижу на корточках, хватаясь при поворотах за чужие коленки. Девчонки взвизгивают. Спецкомитет – передовая организация во всем. Особенно в уставе внутренней службы. Терешкова только в космос полетела, а у нас девочек и мальчиков на курсы принимают на равных.

Сиськи, животы, волосы. Какие разные! Разнообразнее мужчин. И смотреть приятнее, чего скрывать. Говорю, как ни то, ни се. И ловлюсь на том, что отождествляюсь с ними. Женщина?! Вот такое смешливое, грудастое, плоское, гривастое?! Нет, не может быть. Достаточно заглянуть туда, где хранится государственная тайна. А еще могу оплодотворить и оплодотвориться. Как от них, так и от тех, кто моется в соседнем отделении.

– Ой, девочки, что расскажу…

– А лейтенант мне ласково: ты как автомат держишь, дура…

– В нашем сельпо миленькие вещички выбросили, из-под полы не достанешь…

– Иванна, не копайся, на всех воды не хватит…

– Милого ждет, спинку потереть…

Зубоскалю, отвечаю, даже щипаюсь. На уровне рефлексов везде своя, и везде – чужой.

Когда вся толпа упархивает, а из открытой двери вырываются плотное облако пара, решаюсь – стягиваю трусы, прикрываюсь мочалкой и вступаю во влажную духоту. Точно на вражеской территории, без знания языка, где каждый может разоблачить, задав самый простой вопрос.

Дятлов ничего не делает просто так. И если посыпает в баню, то это не только забота о чистоте тела, но и задание. Вот только какое? Чего он еще не знает о женщинах? Или в Спецкомитет затесалась крыса с вражеской стороны? Такое бывает, конечно же.

– Спинку потри, – из плотного облака возникает тонкая рука с пышущим пеной мочалом. – А потом я тебя потру, – хихиканье.

Делать нечего, прикрываюсь только паром, вожу по худенькой спине мочалом.

– Закрылки, закрылки не пропускай. И шибче, шибче.

– Будет тебе шибче, – ворчу. А она вдруг поворачивается, и руки скользят по ее грудям. Маленьким и твердым.

– Тебя ведь Иванна зовут? – Кого-то она напоминает. Какую-то артистку со скучастым лицом, широкими бровями и худобой.

В шуме и гаме помоечной никому до нас нет дела.

– У тебя сиськи красивые, – говорит она и сжимает свои: – А у меня ничего нет, перед парнями стыдно. Доска два соска.

– Повернись, – говорю, – закрылки надо дотереть.

Поворачивается. Ловлю на мысли, что впервые захотелось определенности. Противоположной определенности. Аж до суда. До напряжения.

Упирается в кафель. Выгибает спину, как маленькая кошка. И продолжает болтать:

– А я тебя давно приметила. Ты особишился, девчонки тебя зазнайкой считают, ой, только им ничего не говори, девчонки хорошие, душевые, я понимаю – служба, ты не в общежитии живешь, а где, на квартире, скучно, поди, одной-то, может попросишься к нам, у нас в комнате койка освободилась, девчонку в Казахстан перевели, туда, где целина, а она ничего преж не сказала, тайком рапорт подала, не попрощалась, вещи бросила, да и зачем на целине чулки да туфли, а еще мы решили на вечерний поступать, хочу на переводчика учиться, нет, не английский, хочу с японского переводить, даже и не знаю почему, очень далеко от нас Япония, люблю, когда далеко, и загадочно, девчонки смеются, гейшой прозвали…

Она продолжает бесконечный рассказ, и это даже хорошо – не нужно его поддерживать. Просто мою. С ног до головы. Одеваю в плотную пену. Белые хлопья укутывают стыдную

наготу и гостайну. И получаю удовольствие. Неожиданно. Только перестав быть одиноким понимаешь, насколько одиночество тяжело.

Не было ни копейки, да вдруг абын.

История Наси

Она – дитя деревни. Во время войны солдаты привечали сирот, делали их детьми полка. Насю приветила деревня. И название у деревни подходящее – Великая Грязь. Только в Великой Грязи могло родиться такое существо, как Нася. Мелкое, тощее, от известной матери и неизвестного отца. Впрочем, почему неизвестного? По пришедшей спустя несколько дней после ее рождения похоронке, законный отец пал смертью храбрых в боях на полях Европы, так и не повидав за последние три года своей жизни ни жены, ни, тем более, новорожденной дочери. Мать задрал зимой медведь-шатун.

Ребенок был настолько тощ, что даже имя к ней прилепилось не полностью, а нелепым обрывком, огрызком. Не Настя, не Анастасия, а всего лишь Нася. Нася из Великой Грязи. Вся биография и вся судьба в имени и месте рождения. Великая Грязь была миром для крошечной Наси, миром, где каждый – ее отец, мать, брат, сестра. Кто-то отдавал сиротке поношенное платьице, оставшееся от дочки, кто-то совал погрызть морковку, а председатель колхоза, однорукий ветеран, почевал Насю леденцами с приставшими крошками махорки. Даже места постоянного житья у нее не было, кочевала из дома в дом, словно цыганка, засыпая там, где застала ночь, если было лето и не хотелось проситься в душные, пропахшие тяжелыми запахами нужды пятистенки.

То, что мир гораздо больше укрытой в тайге Великой Грязи, Нася поняла когда ей вручили новенький портфельчик и отвели в школу, в первый класс, где учительница первая ее, только-только приехавшая из райцентра в эту глушь по распределению, спросила детей:

– Что такое Отчизна, дети?

– Великая Грязь, – осмелилась пискнуть в тишине класса Нася, и все засмеялись. Только учительница не засмеялась. Она вздохнула и принялась рассказывать. Рассказывать этим детям о мире, который раскинулся далеко за пределами их крошечного поселка, затерянного на пустынях Сибири. Может именно тогда Нася и решила выбраться из Великой Грязи на просторы Отчизны. Чем взрослея становилась, тем больше ей надоедал патронаж деревни. Да и председатель продолжал ее усаживать себе на колени и совать в рот приторные леденцы…

И как только в ее руках оказался новехонький зеленый паспорт с фотографией, единственной фотографией себя, которую имела Нася, она сбежала. Даже не так. Она собрала нехитрые пожитки, которые хранила в колхозной конторке, куда ее определили по совместительству сторожихой и уборщицей, и отправилась на железнодорожную станцию.

И началась жизнь на колесах. Нася бралась за любую работу, которую только можно найти в поездах. Она не желала оставаться на одном месте, пока не осмотрит все уголки Отчизны. Она ехала из Москвы во Владивосток, из Алма-Аты в Магадан, из Вильнюса в Петропавловск-Камчатский, переходила из поезда в поезд, чтобы увидеть еще больше городов и веселей необъятной Советской страны. Работала не за страх, а на совесть, поэтому начальники поездов охотно принимали на работу пигалицу. Впрочем, часто ее принимали за мальчика, чем Нася охотно пользовалась, совершая поездки то как проводница, то как проводник.

Больше всего ей нравилось работать не в спальных вагонах, не в купейных, а в плацкартных, и даже общих, особенно в поездах здоровья, где толпился, клубился, пел, смеялся новый, молодой, задорный и азартный народ. Бородатые ребята в ковбойках, веселые девчонки в ватных штанах и куртках, с гитарами, рюкзаками, влюбленные, сидящие в такой тесноте,

что девушкам приходилось умещаться на коленях возлюбленных, – они ехали в такие места, о которых Нася слышать не слыхивала, и лишь потом по радио передавали новости об очередных успехах ударных комсомольских строек на вновь открытых полюсах коммунизма.

Однажды она встретила в поезде громадного, похожего фигурой и повадками на медведя человека, которого его спутники называли Иваном Ивановичем. Проникнувшись к крохотной проводнице особым благоволением, он постоянно гонял ее за чаем, угождал конфетами «Мишка на Севере» и «Мишке косолапый», рассказывал о грандиозном строительстве на Ангаре крупнейшей в мире гидроэлектростанции. И Нася решилась. Сошла на станции Тайшет и вскоре оказалась на стройке Братской ГЭС. Крошечная Нася на огромной стройке. Поскольку квалификации у нее никакой не было, то определили ее в арматурщицы, где с множеством других девчонок, завернувшись в ватники от пронзающего насквозь ледяного ветра, плела арматуру для бетонных блоков, которые ложились в основание колосальной плотины. Крошечная Нася противостояла могучей Ангаре. Именно так она себя ощущала. Мир представлял интереснейшей и загадочной сказкой, а потому в нем не могло быть скучных дел. Даже когда она с девчонками на верхотуре замазывала трещинки на серой спине плотины, даже там ее мастерок представлялся Насе сердечком, которым она залечивает царапины Братской ГЭС. Это был какой-то иной мир, отделенный от мира, в котором прозябала деревня Грязь, герметичными переборками, и даже время здесь текло иначе, Насе казалось, что она работает на стройке считанные дни, а на самом деле пролетали недели, месяцы, годы...

– Ты не представляешь, что было, когда ее открыли, – Нася крепче сжимала ладонь, но взгляд устремлялся вдаль, будто видела прошлое. – Никогда не думала, как такое можно пережить... будто... будто сама стала электричеством, понимаешь? Крошечной частичкой могучей силы... только не смейся, пожалуйста...

– Вовсе не смеюсь, – говорю серьезно, удерживаясь, чтобы не погладить ее по круглой головке. А ведь она старше. – Слушаю. Все-все, что расскажешь. Очень интересно. Правда.

И она продолжала. Продолжала описывать то, что поначалу, казалось, испытала только она, но потом девчонки по секрету делились – и они это почувствовали. ЭТО. Кто-то из опытных, кто давно с парнями женихались, сравнивали ЭТО с любовной истомой, только более сильной и не обессиливающей. Но Нася знала в чем дело.

Электричество. Электричество текло по ним. По всем, кто строит Братскую ГЭС. Они – провода, проводки, лампочки, переключатели, нагрузки. Постоянно под напряжением. Постоянно в силе. В электрической силе. Насе порой казалось, что умеет включать свет, не прикасаясь к переключателю. Надо поднапрячься, собрать электрическую силу, что дает Братская ГЭС, и ей, и всем, и высечь искорку. Достаточно – крохотную. И готово! Да будет свет!

И еще она чувствовала: электричества в них не поровну. Братская ГЭС делила его не по-братьевски, а по тому, сколько мог принять каждый этой искрящей силы. Крохотная Нася – немного, чуть-чуть. Не умещалось в ее тельце больше. Но были среди знакомых девчонок, вполне себе дородных и спелых, в ком этой силы запасалось и того меньше. Не в размерах дело, ох, не в размерах.

История Наси (продолжение)

Особенно остро она это поняла, когда вновь столкнулась с Гидромедведем.

– Кем-кем? – Аж сердце заколотилось. Черт знает что в голову пришло: когда? Откуда? Неужели??!

– Директором, – сказала Нася. – Иваном Ивановичем Наймухиным. Его все так называют. За глаза, конечно. Очень похож на медведя. Будто мишка, хозяин тайги, вышел из леса, встал на задние лапы...

И тут вспоминаю. Первый и последний спектакль. «Обыкновенное чудо». Вот действительно – чудо. Вполне обыкновенное.

– Он любит все, что с медведями связано. У него, говорят, в кабинете настоящая картина висит… ну, та, с медведями… Шишкина!

– Утро в сосновом лесу?

– Ага. И еще он запретил в тайге на медведей охотиться, представляешь? И все охотники, лесники его послушались. Даже браконьеры. А если кто-то запрет нарушает, то очень об этом жалеет, – Нася передернула плечиками. Жалость к самому себе – для нее самое страшное наказание.

Усмехаюсь. Почти как Дятлов.

– А про спектакль… – Нася наклонила голову, зырнула. – Меня помнишь? Я цветы принесла… от Ивана Ивановича… и автограф просила… у меня никогда не было автографов настоящих артистов. Вот у девчонок есть, от Пахмутовой с Доброравовым, от Кобзона, а у нашего прораба даже Фиделя Кастро автограф есть, представляешь?

– Понятно. – Хотя ничего не понятно. Букет от самого Наймухина. От Гидромедведя. Принцу-медведю. А еще там имелся конвертик. В конвертике – записка. Которую Дятлов внимательно прочитал, но не отдал. – Как же ты в Спецкомитет попала?

– По вербовке, – пожала плечиками Нася. – Объявили, что требуются вольнонаемные, можно без квалификации, вот и завербовали. У вас и паек гуще, и зарплата выше… и общежитие хорошее… – она грызла ногти, не смотрела.

Пришлось взять за острый подбородок, вздернуть, посмотреть в глаза. Изобразить товарища майора Дятлова. Прищуриться:

– Недоговариваешь, Нася.

– Из-за тебя… – прошептала еле слышно. – Ведь тогда… на спектакле… в принца… не знала, что… думала – парень, артист… может, из Москвы… вот и решила наняться, разузнать… а ты… ты – это ты…

– Не парень, – завершаю ее мямление.

– Угу.

На поцелуй отвечает робко. Но вот девицей не была.

У Наси ребенок.

Мишка. Михась. Мишутка.

Странно слушать, когда она о нем говорит. Невообразимое сюсюканье. Кажется, это называется материнским инстинктом. Мать обязана воображать, будто ее дитя – лучшее.

Кто посодействовал?

Заезжий москвич. Фамилии история не сохранила, только имя – Иван. Корреспондент профсоюзной газетки работников то ли водного транспорта, то ли железнодорожного. Москвич, одним словом. Приехал словно из другой жизни, и Нася сразу положила на него глаз, хотя понимала – шансов у невзрачной пигалицы никаких. У него в светлом московском кабинете наверняка висит портрет самой Бриджит Бардо. А кто она – Нася из деревни Великая Грязь? Москвич не пил, не курил, не ругался, носил галстук и шляпу, широко улыбался, чиркал в блокнотик и снимал на фотоаппарат.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.